

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

КРАМОЛА.

СТОЛПОТВОРЕНИЕ

Крамола

Сергей Алексеев

Крамола. Столпотворение

«Алексеев Сергей»

1990

Алексеев С. Т.

Крамола. Столпотворение / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,
1990 — (Крамола)

Роман «Крамола. Столпотворение» – это размышление об истоках и последствиях беспощадного русского бунта, Октябрьской революции и Гражданской войны, особый взгляд на прошлое и будущее России, попытка понять роль героя, антигероя и простого человека в судьбе государства, определить роковые моменты истории, когда каждый обязан сделать нравственный выбор и нести за него ответственность. Действие первой книги – «Столпотворение» – охватывает период с середины XIX века до 1920 г. Основные события происходят после революции. Купеческие города в Сибири пахнут ладаном и разбоем. Колчаковцы, интервенты, полки Красной армии и банды уголовников, перед которыми в 1917 году открылись ворота централов, поливают сибирские просторы кровью. Красный террор сменяется белым, белый – красным, а земля принимает всех в одну братскую могилу, не ведая различий. Близнецы Андрей и Александр из дворянского рода Березиных ищут свой путь в этой толпе живых и мертвых, где так просто потерять душу, разум, веру и способность отличать добро от зла...

© Алексеев С. Т., 1990

© Алексеев Сергей, 1990

Содержание

1. В ГОД 1918...	5
2. В ГОД 1905...	22
3. В ГОД 1918...	37
4. В ГОД 1890...	46
5. В ГОД 1905...	50
6. В ГОД 1918...	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Сергей Алексеев

Крамола. Столпотворение

1. В ГОД 1918...

Молния летела в лицо.

«Обережный круг!» – вспомнил он. И в тот же миг, ослепший и оглушенный громом, канул в черную бездну.

Очнувшись, Андрей не сразу понял, что его закапывают. Земля давила грудь и порошила лицо. Только руки торчали из ямы, и это обстоятельство в первую секунду вызвало досаду: хоть бы зарыли как следует...

И вдруг пронзила мысль – жив! Зачем же хоронят? Он закричал:

– Живой я! Живой!

Андрей на какой-то миг вновь потерял сознание. Пришел в себя, когда ему ножом начали разжимать зубы, пытаясь напоить из фляжки. Он лежал на шинели, двое красноармейцев хлопотали около и переругивались. Андрей взял фляжку и выпил всю до дна, отбросил в сторону.

– Что со мной было? – спросил он.

– Да грозой тебя, – объяснили ему. – Не шибко, вот и не сожгло. А бывает – головешка остается...

Андрей сел и осмотрелся. Светало. Бойцы спали на траве между деревьев, чудом выросших и доживших до старости на небольшом береговом уступе. Внизу белела река, подернутая туманом.

В ушах звенело, гудела голова, а перед глазами стоял несмаргиваемый зигзаг молнии, напоминавший белую ветвь дерева. Он попросил еще воды, онемевшей рукой плеснул на лицо. Прояснился ум, в степи стало светлее, однако на всем вокруг лежали зловещие отблески невидимого пожара.

Двое в выгоревших гимнастерках стояли по обе стороны от Андрея и молча тарачились на командира. Рассмотреть их лица мешала молния, запечатленная зрением. «Как архангелы, – подумал Андрей. – Сейчас подхватят и понесут...»

– Должно быть, согрешил, – сказал один из них. – Говорят, только грешных бьет. А ведь молодой еще...

– Все мы грешны, – прогудел другой и перекрестился.

Андрей поднял глаза к небу. Грозовая туча, вздыбившись от горизонта почти в самый зенит, стояла черной горой над головами и закрывала весь противоположный берег. Не пролив и капли дождя, она выметала, истратила весь свой гнев и силу, сотрясая пространство над степью, и теперь замерла на небосклоне, парализованная восходящим солнцем. Андрей подошел к обрыву: от воды тянуло прохладой, дышать стало легче.

Когда край тучи набряк малиновым цветом, подул ветер и черный колосс в поднебесье вдруг начал разваливаться, расползаться вдоль заречного горизонта. Где-то под кручей, у самой воды, пронзительно защелкал соловей.

Остуженная за ночь земля теперь холодила, и под деревьями слышалось сонное шевеление. Озноб заставлял людей прижиматься друг к другу, подтягивать колени к подбородку.

Андрей вернулся к месту, где его настигла молния, поднял с земли портупею с шашкой и револьвером, бинокль в чехле и, цепляясь руками за жесткую траву, пошел вверх по склону. Еще не совсем исчезла слабость после недавно перенесенного тифа, к тому же все еще кружилась голова и ком тошноты подкатывал к горлу. Собираясь с силами, Андрей часто останавли-

вался и оглядывался назад, где на береговом лесистом уступе, у самого обрыва, спали бойцы его полка. Вернее, все, что осталось от полка, – триста пятьдесят штыков.

В степи тоненько и призывно ржала лошадь...

На самом гребне берега казалось намного светлее, чем внизу, на уступе, а зоревое небо – ближе и ярче. Во все стороны лежала бесконечная степь с расчесанными ветром травами, с редкими лесными колками у подножий холмов. Восток уже был светел и чист и потому так далек, что, казалось, видно закругление Земли. Только там, где река Белая утекала за горизонт, поднимались едва заметные дымы: в Уфе что-то горело...

Вскинув бинокль, Андрей долго смотрел в ту сторону: перед взором колыхалась степь с коростными пролежнями солонцов. Пологие холмы, словно волны, катились к высокому материковому берегу, на котором стоял город. И ни одной живой души не было в тот час в безмолвном пространстве.

Андрей прошел вдоль берега. Заря опрокидывала темное небо, как опрокидывают перевернутую вверх дном лодку.

Увидев в траве винтовку с примкнутым штыком, Андрей нагнулся и поднял ее. Рядом валялись солдатская фуражка и подсумок. Часовой бежал с поста – семнадцатый дезертир за послед-ние трое суток. Но сейчас не это беспокоило Андрея. Если и сегодня ушедший за реку со взводом комиссар Шиловский не найдет бойцов товарища Махина и если разведка, отосланная с вечера в степь, встретит казачьи сотни, идущие к Уфе от Стерлитамака, то придется еще раз штурмовать железную дорогу. Другого выхода нет. Только туда, за магистраль, иначе через сутки, а то и раньше, полк будет обречен, прижатый к «чугунке» с трех сторон.

А основных сил и товарища Махина со штабом за рекой могло не быть: полк Андрея уже больше недели не имел ни связи, ни приказов и мотался по горячей степи в поисках своих, каждый раз натываясь то на белочехов, то на какие-то иные вражьи части. В бой не вступали, а лишь отходили, отбиваясь, глубже в степь и ночью опять возвращались к железной дороге. Долетали слухи, будто Уфимский гарнизон вместе с Советом, ЧК и милицией отступил за «чугунку» и укрепился где-то на реке Уфе. Однако на путях, где бы ни выходил полк Андрея к полотну, всюду стояли забитые чехами эшелоны. Создавалось впечатление, будто вся Россия перерезана одним бесконечным длинным составом. Бессмысленность такой войны обескураживала и вызывала тихое, злое отчаяние.

Бывший штабс-капитан Андрей Березин после двух лет германской войны не мог понять гражданскую, на которой оказался месяц назад. Это была странная война: без окопов и тыла, без снабжения и штаба, без командования... да и без самого фронта, ибо когда фронт везде, куда ни пойдешь, то это уже не фронт...

Андрей вытащил из кармана часы и неожиданно обнаружил, что они остановились: слившиеся стрелки замерли на двенадцати. И сколько бы потом Андрей ни крутил завод, ни тряс их – часы молчали. Видно, испортились от удара молнии, а может, на этой войне и само время остановилось?..

Оказавшись в Башкирии, Андрей неожиданно для себя увидел мысленно всю Россию как бескрайнюю горячую степь, по которой металась отряды вооруженных людей, и все хотели пить, пить! Если находилась вода, то она оказывалась горячей и не утоляла жажды, и остудить ее было негде; или, на вид холодная и чистая, она была горько-соленой, не годной для питья; однако и пресная не могла напоить жаждущих: раздувая желудки, она скоро выходила белыми разводами на гимнастерках. Днем люди ждали ночи, чтобы отдохнуть от бесконечной гонки и хотя бы чуть остудить тело и унять клокочущую в голове кровь. А ночью земля остывала и на смену жару наваливался дикий холод, и тогда вновь хотелось тепла...

В этом огне, в этой вселенской жажде угадывалось рождение чего-то нового, неведомого донныне и пока непостижимого...

Андрей попытался вообразить, как сложится день, что произойдет к вечеру, и в сознании сама собой нарисовалась картина: густой пулеметный огонь от насыпи и редущая, изорванная цепь остатков полка, развернутая фронтом к железнодорожной магистрали. А над всем этим – слепящее солнце...

«Нет, нет, так было вчера. – Андрей попытался сосредоточить мысли на будущем. – Сегодня все пойдет иначе...»

Вдруг Андрей подумал: Оля! Где она теперь? Там, за «чугункой», вместе с гарнизоном и Уфимским Советом, или заложников все-таки не повели с собой, а оставили в городе? Наверняка, когда отступали красные, была паника, может быть, в суете и неразберихе о них забыли, а белочехи пришли теперь и освободили сестру?

Красные...

Всякий раз, повторяя про себя это слово, Андрей спохватывался, что теперь он тоже «красный» – военспец, командир полка. И надо бы привыкнуть к новому своему состоянию, смириться с судьбой. Хотя бы до тех пор, пока он здесь, в сухой башкирской степи, а сестра Оля – там, в заложниках.

И где-то в Уфе остался еще брат Александр. Может быть, ему удастся спасти, выручить Олю?!

Мысль эта теплила надежду. Только бы они остались живы, только бы они...

Тогда все закончится благополучно – и сегодняшний день, и другие; каким-то образом угаснет странная непривычная война и они все вернутся домой, в Березино. И будет мир...

Андрей выдернул и зашвырнул в траву затвор винтовки, брошенной дезертиром. После каждой стычки с белочехами лишние винтовки некуда было девать. Нести тяжело, а бросить – трофей врагу. Однако затвора показалось мало, трехлинейка еще оставалась оружием. Андрей всадил штык в землю и попытался сломать его: гнул, налегая телом на приклад, раскачивал в разные стороны – четырехгранное жало пружинило и выворачивалось из земли...

За спиной стоял пожилой бородатый ополченец в длинной гимнастерке, щурился, позевывал, зябко встряхивал плечами.

– Помоги, – попросил Андрей.

– Далась она тебе, – отмахнулся красноармеец. – Не ломай добро, как-никак старались, делали. Жалко... Вон лучше комиссара встречай. Плывут...

Андрей вышел на береговую кромку: по реке, цепляясь за бревна, плыли люди. В бинокль ясно были видны напряженные лица, широко открытые глаза и рты. Комиссар Шиловский что-то говорил и, отплеывая воду, оглядывался назад. От взвода осталось человек пятнадцать...

Придерживая шашку, Андрей спустил ноги с обрыва и покатился вниз. Пока разведчики приближались к берегу, Андрей умылся, сполоснул нательную рубаху. Сырая и прохладная, она еще на какое-то время отдалит момент, когда знойное солнце вновь припечет плечи и спину.

Красноармейцы выбирались из воды, падали на береговой откос, раскинув руки, дышали коротко, запаленно. Кто-то кашлял, отрывая воду. Шиловский – человек средних лет, в пенсне и большеватом английском френче – снял с бревна связанные сапоги и подошел к Андрею. Стоял босой, мокрый, но усталости не замечалось, разве что красноватые, навывкат, глаза смотрели сквозь линзы пристально и тяжеловато.

– Что там? – спросил Андрей.

Комиссар достал маузер, вылил воду из деревянной колодки и проверил патроны. Потом так же не спеша вложил оружие в кобуру, но крышку не застегнул.

– Махин предал, – сказал он и вскинул на Андрея настороженные глаза. – Махин нацепил погоны. И все бывшие офицеры... Партийных расстреляли.

– Будем пробиваться за железную дорогу, – проронил Андрей и проверил ход шашки в ножнах. – Уйдем дальше от города – и пробьемся.

– На дороге – чехи! – возмущенно сказал комиссар. – Вам мало вчерашнего?

– А вы думали, они нас блинами встретят?! – тоже взвинтился Андрей. – Надо искать слабое место и прорываться ночью!.. Ночью пройдем, отдохнут люди – и пройдем.

Неожиданно он увидел среди красноармейцев высокого парня в гимнастерке с погонами прапорщика.

– Из ваших, – кивнул на пленного Шиловский, перехватив взгляд Андрея. – Все погоны натянули...

Андрей подошел к прапорщику – погоны свешивались с узких и покатых плеч, мокрая гимнастерка прилипла к телу; босые ступни ног белели на сыром песке...

– Как же это случилось, прапорщик? – спросил Андрей.

– Не знаю, – тускло выдавил тот и поднял глаза. – Я ничего не пойму. Ничего.

На обрыве между сосен стояли красноармейцы. Один из них, подняв винтовку, спрыгнул с уступа и покатился вниз, оставляя шлейф пыли. И следом, в разных местах, вспыхнуло еще несколько пыльных вихрей. Конусы песка по откосу росли и добрели, как тесто в квашне.

– Назад! – крикнул Шиловский и поторопил красноармейцев, приплывших с ним: – Наверх! Быстро! Быстро, товарищи!

Красноармейцы стали подниматься с земли, кто-то подтолкнул прапорщика, указывая винтовкой наверх. Прапорщик вдруг вцепился в рукав Андрея, захлопал губами, силясь что-то сказать, но не смог произнести ни слова и лишь таращил большие светлые глаза. Красноармеец дернул его за руку, повлек в гору.

У самого обрыва по-прежнему толклись красноармейцы, махали руками, что-то обсуждали и спорили. Шиловский ждал, стараясь поймать взгляд Андрея.

– А вы не приберегли себе погоны? – Комиссар, сняв пенсне, впился глазами в лицо Андрея. Тот молча расправил френч под ремнями, потрогал пальцами ножны.

От Шиловского пахло как от дерева, долго пролежавшего в воде.

– Я дал слово офицера, – сказал Андрей. – А потом, вы же знаете, моя сестра осталась заложницей...

– Знаю, я все знаю, – перебил комиссар. – Махин тоже давал слово. Только ваши слова, господа офицеры...

Андрей отошел к воде и стал спиной к Шиловскому. Стиснул руки, сцепленные на поясе. Наверху шум усиливался, крепили возмущенные голоса: похоже, назревал митинг.

– Кому вы ночью подавали сигналы? – жестко спросил комиссар. – Я видел костры.

– Костров не жгли, – не оборачиваясь, бросил Андрей. – Все спали...

– Но я сам! Сам видел огни!

– Огни? – морщась, переспросил Березин. – Да, были огни. Купальская ночь нынче, папоротник цвел. – И, резко развернувшись, полез в гору по зыбкому песку.

– Что? – не понял Шиловский, устремляясь следом. – Что за глупость? Какой папоротник? Я спрашиваю: кто жег огни?

Песок оплывал под руками, утекал из-под ног, и Андрею казалось, что он стоит на месте, хуже того – сползает вниз вместе с этой землей. И что земля вдруг потеряла свою привычную твердь...

Когда Андрей с комиссаром поднялись на берег, стихийный митинг уже бушевал вовсю. Точнее, это был суд, поскольку среди толпы стоял прапорщик, а рядом, у его ног, сидел плечистый молодой башкир – дезертировавший дозорный, винтовку которого нашел Андрей.

– Конь в степи ржал, я пошел, – бормотал башкир. – Конь ржал, думал, поймаю, мой конь будет...

– Почему винтовку бросил?! – орали ему со всех сторон. – В расход! В расход его, суку!

А прапорщика почему-то не трогали, не задирали, и он стоял отчужденный, ссутулившийся.

Возбужденные люди не могли стоять на месте, двигались беспорядочно, бессмысленно: кто-то пытался подняться над толпой и сказать речь, но его перебивали – говорить хотелось всем сразу. Что-то безумное было в этой страсти.

Дезертир тоже стал кричать, сверкая глазами, но слова его тонули в гуле голосов. Оправдываться ему было бессмысленно – никто не слушал.

– Подыхать – так всем! – орал и кружился в толпе большерукий красноармеец с обожженными солнцем плечами. – Ишь хитрозадый! В кусты?!

Над головами людей качалась вороненая сталь штыков, будто трава под ветром. Андрей вглядывался в лица – мелькали перед глазами раскрытые рты, выпученные глаза, загорелые до черноты скулы... Ни один дезертир еще не был пойман, и на этого, семнадцатого по счету, обрушивался теперь весь гнев.

И только боец с бледным девичьим лицом сидел под деревом в сторонке и торопливо жевал пшеницу, доставая ее из сидорка. Да пожилой красноармеец лениво бродил у обрыва, держа в руках винтовку, брошенную дезертиром. А еще оставались лежать на земле тяжелораненые, а также те, что умерли от ран этой грозовой ночью и еще не были похоронены.

Андрей пробрался к пулеметчику, выдернул из его рук пулемет и дал длинную очередь в воздух. Гул разом смолк, и лишь тяжелое дыхание вырывалось из открытых ртов.

– Полк! Стройся! – напрягаясь, скомандовал Андрей.

Теснясь, бойцы разомкнули кольцо, выстроились полукругом, лицами к обрыву. Прокатился шелестящий шепот, словно ветер по ковылю.

Прапорщик, распрямившись, поправил гимнастерку – подсохший белый песок на ее подоле тихо опал на землю.

– Приговор народа слышали? – спросил Шиловский.

– У нас нет времени судить, – бросил Андрей. – И это не мое дело – судить...

– Суд состоялся, – перебил Шиловский. – Приговор утверждаете?

– За дезертирство полагается расстрел, – проронил Андрей и умолк.

– А своего пожалели? – Комиссар мотнул головой в сторону прапорщика, затем вновь глянул в глаза Андрею: – И за предательство расстрела не полагается, так, по-вашему?

– По-моему, он не предавал, – ответил Андрей. – Его кто-то предал... Впрочем, мне трудно понять...

Он подошел к прапорщику и краем глаза увидел, что комиссар достает маузер. Прапорщик ждал чего-то от Андрея, глядел жадно и все отряхивал, отряхивал подол гимнастерки, выбивая белесую пыль.

– В таком случае – отойдите! – скомандовал Шиловский. – По законам революционного времени за дезертирство и предательство – расстрел перед строем!

– Прости, брат, – сказал не глядя Андрей и отошел.

– За что? – Прапорщик потянулся за ним, неестественно рассмеялся. – Как – прости?!

А комиссар тем временем подал маузер красноармейцу в натальной рубахе, подпоясанной ремнем с подсумком. Тот механически протянул руку, чтобы взять маузер, но тут же отдернул ее, попятился, вжимаясь спиной в плотную человеческую массу. А стоящий рядом с ним веснушчатый боец спрятал руки за спину. Строй замер, затаил дыхание. Люди почему-то отворачивались либо опускали головы, чтобы не смотреть на черный маузер в руке комиссара.

– Добровольцы есть? – спросил Шиловский, оглядывая строй.

Красноармейцы молчали. Слышно было, как бормочет дезертир у обрыва – наверное, молился...

– Вы же сами вынесли приговор! – подбодрил комиссар. – А привести в исполнение некому? Разве мало погибло ваших товарищей из-за предателей и измены?

– Дезертира бы пожалеть надо, – несмело откликнулся кто-то из гущи строя. – Эдак-то и своих перехлешшем...

– А он пожалел вас, когда бежал? – застрожился Шиловский.

– Дак не стерпел, верно, – слышалось с правого фланга. – Не каждый таку войну стерпит. Пожалеть бы...

– Пожалеть?! – вдруг заорал и заколобродил в строю, вырываясь вперед, большерукий красноармеец. – А нас кто пожалеет?! Нам снова на смерть, а он, хитрозадый, в кусты?! – Выпугавшись из строя, большерукий обернулся к прапорщику и башкиру, потряс кулаками. – К стенке! Обоих!

Комиссар удовлетворенно хмыкнул и протянул ему маузер, но большерукий в ярости не видел его.

– Мы ж так революцию разбазарим! Добренькие, что ли?! Они на чужом горбу в рай! – вновь потряс кулаками в сторону дезертира и прапорщика. – А мы – на алтарь свободы ляжем?! – Он дернулся к комиссару, протянул руку: – Дай! Мне дай! – выхватил у него маузер. – Я им покажу, как бегать! Счас хлебнете кровушки, гады! – Через секунду он был уже возле прапорщика. Рывком поставил его на колени, приказал звенящим голосом: – Сымай гимнастерку!

Прапорщик, глядя снизу вверх, потянул подол гимнастерки; башкир глядел на них со спокойной ненавистью.

Едва гимнастерка покрыла голову, палач-доброволец выстрелил в затылок, крикнул дезертиру:

– А ты, басурман?!

Тот сам встал на колени, согнул мощную шею. После выстрела пустая горячая гильза ударила в ствол сосны, отскочила к Андрею и царапнула ему щеку. Он зажал ранку ладонью, сглотнул воздух сухим горлом.

А Шиловский торопливо отобрал, вырвал маузер у добровольца – тот, сверкая глазами, выискивал кого-то в толпе и опасно водил стволом.

Строй молчал. Люди дугой стояли на склоне берегового уступа и напоминали хор, выстроенный на сцене. Но Андрей не мог поймать ни одного взгляда из-под опущенных век. Лишь красноармеец, что крадучись ел пшеницу, бестолково и плутовато озирался по сторонам.

– Убрать! – приказал Шиловский, пряча маузер, и кивнул на трупы.

Палач стащил расстрелянных к обрыву и спустил вниз. Два пыльных шлейфа потянулись к воде; потек, побежал зыбкий песок...

– По-олк! Смирно! – крикнул тут Андрей и сразу замолчал, чувствуя, что не сможет говорить громко. – Слушай приказ, – продолжил уже тише. – Будем прорываться за железную дорогу ночью. В степь уходить нельзя, там гибель. До ночи надо уйти подальше от города, туда, где чехи нас не ждут...

Где-то в середине строя, в его плотном чреве, возникло крутое шевеление, и из первой шеренги вывернулся босой красноармеец без винтовки.

– Опять на пулеметы?! – заорал он. – На пулеметы нас?! Уж лучше стреляйте! Стреляйте! – рванул гимнастерку на груди. – Всех положить хотите?! – Белые от бешенства глаза его лезли из орбит, перекошенное лицо побледнело и заострился нос.

– В строй! – прохрипел Березин и, схватив паникера за грудки, вдавил его в гущу людей. Перевел дух, оглядел красноармейцев, сказал тихо: – Это война. Такая уж она... беспощадная!..

Поймал взгляд того, что ел пшеницу: взгляд этот трепетал, словно огонек свечи на ветру. Заметил чью-то руку, осеняющую себя крестом.

– А знаем! Знаем, ваше благородие! – раздался густой и сильный голос в строю. – У тебя сестру в залог взяли! Она за «чугункой»! Вот ты и гонишь нас под пулеметы!

– По нашим спинам хочешь через «железку» прорваться? – подхватил другой. – Нет, господа! Не выйдет! В степь пойдем! В степь! У нас тоже сестры есть! И братья! И дети!

– Твои под охраной ходят, а наши?! – взвинулся паникер в разорванной на груди гимнастерке. – Где наши?! Да их в распыл всех пустят! За нас-то!

Андрей глянул на комиссара. Тот, подзвав коновода, неуклюже взбирался на лошадь.

– Да, моя сестра за железной дорогой, – сказал Андрей. – Но я за ваши спины не прятался! И вы это знаете. Я такой же, как вы. И тоже не хочу умирать. В степи нам смерть. Всем! А через железную дорогу можно пробиться! Пока не подошли казаки...

Он уже не мог больше говорить. Напрочь пересохшее горло словно бы сомкнулось, склеилось, и стало трудно дышать. Он перехватил взгляд комиссара и в какой-то миг вдруг уловил злорадство в его глазах. Наверное, Андрей со своим сиплым голосом казался Шиловскому немощным и жалким перед красными бойцами, привыкшими слушать речи горячие и громкие.

Комиссар, гарцуя на коне, вскинул руку и заговорил страстно, отрывисто:

– Товарищи красноармейцы! За железной дорогой наши! Там Советская власть! Там Уфимский комитет и регулярные части, сохранившие верность революции!

Андрей отошел к сосне, изуродованной ветрами и зноем, попробовал откашлять то, что мешало дышать и говорить, – не получилось. Горло от кашля выворачивалось наизнанку...

Комиссара было слышно отовсюду. Он говорил вдохновенно, рубил рукой горячий воздух:

– Подлые изменники нашей рабоче-крестьянской революции хотят зажать молодую республику в железное кольцо! Они предательски бьют нам в спину, стреляют в нас из-за угла! Но мы выстоим! Пролетариату России терять нечего, и потому наш лозунг сегодня один – победа или смерть!

Красноармейцы слушали, строй замер, и по напряженным лицам скользили солнечные лучи.

– Мы не дадим проклятым угнетателям трудового народа надругаться над светлой идеей освобождения! – продолжал комиссар. – Крепче возьмем в руки оружие и защитим извечную мечту рабочего класса! Пройдем очистительным пожаром по российским царским пустырям! И с корнем выжжем всю гнусную траву рабства и несправедливости!

Андрей почти ничего не знал о Шиловском – между профессиональным революционером и насильно мобилизованным военспецом откровенных отношений быть не могло, да и время казалось неподходящим для откровений. Только однажды комиссар сухо и односложно обронил в разговоре, что он два года учился в Сорбонне, после чего вернулся в Россию и пошел рабочим на завод. В полку Шиловский был три недели. Его прислали как раз в то время, когда Андрей получил последний приказ Махина – оставить Уфу и отойти в степь, на юг. Приказ, с точки зрения Андрея, был бессмысленным. Можно было оборонять город, взорвав железнодорожное полотно и оседлав насыпь: мятежный чехословацкий корпус двигался по «чугунке» и был привязан к своим эшелонам. Однако Андрей подчинился и увел свой полк в степь. Комиссар Шиловский сразу же начал энергично действовать. На первом митинге он почти целый час держал речь перед красноармейцами, и слушали его затаив дыхание. Полк, сформированный из демобилизованных солдат-окопников, которые едва успели хлебнуть мирной жизни, как снова очутились под ружьем, у которых еще зудела разъеденная вшами кожа, а души не успели остыть от огня, – полк этот, привыкший к разным агитациям и ораторам, однако же слушал комиссара и преображался на глазах. Вспоминали строевые песни, в походном порядке держали шаг, не прекословили командирам. Умел говорить Шиловский и слова находил такие, что будоражили уставших от боев и потерь красноармейцев и даже каким-то образом завораживали.

– Если даже мы умрем, – звенел над головами бойцов его голос, и эхо откликалось за рекой, – наше дело свободы не умрет! Слишком дорогой ценой за нее заплачено – кровью

наших товарищей! За эту кровь товарищей, павших от подлых рук белочехов, мы пойдем в бой. И прорвемся! И победим! Победа или смерть!

Андрей, слушая Шиловского и ощущая знобящий холодок от его слов, трогал пальцами надбровную дугу, наискось перечеркнутую давним, еще детским шрамом. Гладил и тер его, словно хотел размягчить крепкий и жесткий рубец. Это была старая привычка, сведенная на уровень инстинкта, – ощупывать шрам. Когда-то в детстве он долго не давал зажить ране,ковырывал с нее коросту, раздирал до крови, особенно если волновался. Однажды дядя Андрея, имевший в иночестве имя Даниил, приглядевшись к племяннику, сказал, что подобная страсть – ковырять раны и коросты – признак человека, которому выпадут на долю нищета, горе и несчастье. Возможно, просто пугал, но скорее всего примета дяди была верной...

Казалось, столько событий произошло в то утро на лесистом береговом уступе, а шел всего лишь седьмой час, когда полк, разделившись поротно, оставил реку и двинулся к железной дороге, забирая восточнее, чтобы уйти от Уфы, захваченной чехословацким корпусом. Три колонны шагали на расстоянии видимости, и три широких следа оставались за ними, расчерчивая накаляющуюся степь. Выбитая жесткая трава вроде бы уже не должна была встать, и эти проторенные пути, казалось, не зарастут теперь долго, по крайней мере до следующего лета, пока не проклюнется и не взойдет семя, обмолоченное человеческими ногами. Однако втоптанная в пыльную, горячую землю трава поднималась, распрямляясь с таким же треском и шорохом, с каким падала под сапогами и ботинками впереди идущих. Поторапливая роту правого фланга и пришпоривая коня, Андрей обогнул ее с тыла и неожиданно увидел, что торная дорога постепенно заглаживается и там, вдали, ее уже не различить среди колыхающихся под ветром трав. Будто три вихря пробежали по степи, выстелили травы, но едва отпрянул ветер – и ни следа, словно на воде...

Когда река Белая пропала из виду и полк оказался в открытой степи, роты незаметно стали жаться друг к другу, как люди, очутившиеся в густом, незнакомом лесу. Андрей проскакал на левый фланг, приказал командирам сохранять дистанцию; отправил на правый фланг Шиловского, однако чем глубже уходил полк в белесое пространство степи, тем плотнее сходились роты.

Пометавшись между колоннами, Андрей подъехал к головной, спешил и взял коня в повод. На ходу отстегнул от седла фляжку, глотнул несколько раз тепловатой воды, плеснул себе за шиворот, а остальное расплескал на красноармейцев и раненых, лежащих на носилках. Крайние, на кого попало, недовольно утирали лица и глядели обескураженно, кто-то уже разлепил спекшиеся губы, похоже, для крутого вопроса, но Андрей засмеялся:

– Сегодня же Иван Купала!

И сразу же расстроился походный ритм, сбили ногу, и штыки закачались над головами в разные стороны. В середине колонны кто-то уже снял фляжку и щедро разливал воду, стараясь попасть в лица товарищей. Возникла веселая перепалка, к льющему потянулись, чтобы угодить под брызги, и уже снимали свои фляжки. Андрей заметил пожилого ополченца с двумя винтовками – видно, пожалел-таки бросить оставленную дезертиром, – замедлил шаг и пошел рядом. К плотно набитой котомке у ополченца был приторочен тяжелый раздутый бурдюк, на поясе болтались котелок и три гранаты-бутылки. Грузу было пуда два, однако шел он слегка валкой, но крепкой походкой. От этого человека веяло уверенностью, надежностью, так что идти рядом было хорошо.

– Давно под ружьем? – спросил Андрей.

– А считай, с японской, – охотно отозвался ополченец. – Пятнадцатый год. – Он настоженно огляделся и, выйдя из строя, пошел с Андреем плечо к плечу. Заговорил тихо, в нос: – Ты, ваше благородие, во-он того опасайся, – он указал взглядом куда-то в центр колонны, – и комиссару своему скажи... Ежели стычка выйдет у «чугунки», спинами к нему лучше не пово-

рачивайтесь. И все время на виду держитесь. Жиганет. Сам слышал, до первого боя, говорит, жить им. Обоих угроблю, чтоб людей не мучали. Видишь его, нет?

Андрей пробежал взглядом по лицам людей. В колонне веселились и дурачились вовсю, разливая остатки воды. Искрящиеся брызги осыпались на смеющиеся лица, падали на землю, но не впитывались, а, окутавшись сухой пылью, превращались в живые, как ртуть, комочки.

– Ну, видишь? – шептал, поторапливая, красноармеец. – Да вон, тот самый, что гимнастерочку перед строем пазганул.

На глаза попала загорелая спина большерукого, который порешил предателей; потом Андрей перехватил короткий и блудливый взгляд того, что ел пшеницу; и совсем неожиданно натолкнулся глазами на красноармейца в разорванной до пупа гимнастерке. Кожа на скулах покраснела до кровавого отлива, сожженная солнцем, а короткие волосы и глаза казались неестественно белыми.

– Тот самый и есть, – словно видя чужим зрением, подтвердил ополченец. – Больно уж горячий парень. И злой. Берегись его.

– Спасибо. – Андрей на ходу пожал ему запястье руки, сжимавшей винтовочный ремень.

Шагая рядом с колонной по нетоптаной траве, Березин теперь уже не мог оторвать взгляда от идущих людей. Он ловил глазами лицо того, кто замыслил выстрелить ему в спину, изучал, незаметно рассматривал; коротко остриженные волосы с проплешинами старых, вероятно, детских еще шрамов, оттопыренные уши. Потерять его среди веселящихся красноармейцев было трудно. Он шагал понуро, и на лице его не остывали бешенство и отчаяние, вспыхнувшие ранним утром перед строем, а побелевшие глаза вряд ли что видели.

Неожиданно Андрей поймал себя на мысли, что смог бы расстрелять его, окажись он вместо сегодняшнего дезертира. И рука бы не дрогнула, хотя никогда в жизни расстреливать ему не приходилось и дело это он считал недостойным офицера да и человека вообще. А вот этого расстрелял бы...

Потом он внутренне содрогнулся от таких мыслей и отстал, чтобы не видеть белоглазого красноармейца. Сам того не замечая, Андрей начал вглядываться в лица других рядом идущих людей и многих стал узнавать.

Когда-то в пятнадцатом, приняв под командование первую свою полуроту, Андрей знал почти всех солдат по имени и отчеству и мог до сих пор, прикрыв глаза, мысленно представить лицо каждого. Мог вспомнить, кто как смеялся, тосковал или спал, кто как ел, кричал «ура!», когда ходили в атаки на позиции немцев, и кто как потом выглядел мертвым. Первые его солдаты почему-то запомнились накрепко, как запоминается юношеская любовь. А когда под Перемышлем от полуроты осталось в строю всего четверо вместе с ним и прибыло пополнение, новые эти солдаты все время казались вроде бы как временными, случайными и чужими. Он словно бы ждал тех, первых, и воевал вместе с этими, настоящими, по необходимости. И больше уже не старался запомнить их имена, улыбки и привычки. Знал, что после нескольких боев и ожесточенных атак вновь придут другие...

И лишь провоевав год, он втянулся и принял бесчеловечную суть любой войны: нельзя любить своих солдат, как любят братьев. Иначе от горя лопнет сердце. Хуже того, их надо даже чуть ненавидеть при жизни, чтобы потом, мертвые, они не вставали перед глазами, не мучили память, не душили жалостью и слезами. Так его учили старые, прошедшие не одну войну офицеры. А они-то знали, чего стоит любовь к солдату...

Весь месяц, пока только что сформированный полк Андрея оборонял подступы к Уфе, а потом мотался по степи в поисках штаба армии, затем в поисках самого фронта, ибо непонятно было, где он находится, в какую сторону наступать и что теперь защищать, – одним словом, пока кругом был хаос, Андрей никак не мог привыкнуть к своему полку, вернее – к людям. Они казались все на одно лицо: либо усталые и злые от бестолковых бросков и маршей по горячей степи, либо одуревшие от страсти и отчаянного азарта боев и атак. И мертвые тоже

казались похожими, как близнецы. Даже ротных командиров Андрей не мог запомнить в лицо, поскольку их приходилось назначать чуть ли не ежедневно взамен убитых и раненых.

Андрей шел рядом с красноармейцами и, не стесняясь, рассматривал их, вспоминая каждого и ощущая необъяснимую радость, что все помнит, что знает о всяком столько, сколько и знать бы не должен. Разве что тот, белоглазый, в растерзанной гимнастерке, будто бы незнаком. И запомнился лишь сегодня, когда орал перед строем. Впрочем, а не он ли три дня назад привел из разведки «языка» – офицера чехословацкого корпуса? Помнится, у того были голубые глаза и опущенные книзу уголки век... Он или нет?... Он! После допроса, помнится, отвел чеха в степь и прикончил выстрелом в спину. Шиловский доложил...

Неожиданно в первых шеренгах головной колонны тихо и глуховато запели. Несколько хриплых, но сильных голосов доносились будто из-под земли:

Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы...

Казалось, что сейчас рота рванет сотней глоток с удалью и присвистом и кто-нибудь пойдет впрыскаду, как это было, когда уходили из Уфы занимать позиции. Но к поющим никто не примкнул, хотя люди прибавили шагу и потянулись вперед, словно под струю воды.

– А ведь проскочим «чугунку»! А?! – послышался восторженный голос.

– Перескочим!

– Полежим в степи до ночи, а там – где наша не пропадала?! – заговорили густо в ответ.

– Кабы так, – вдруг проворчал пожилой ополченец и покосился на Андрея. – А то ляжешь. И лежишь.

И замолчал, пристально глядя на Андрея и на его коня. Даже замедлил шаг, и идущий за ним рябой парень наткнулся на бурдюк с водой.

– Что? – не выдержал Андрей. – Что так смотришь?

– Ты глянь, трава за тобой подымается, – с испугом проговорил пожилой. – Примета больно плохая...

Андрей оглянулся: действительно, трава поднималась сразу же, следом.

– На твою приметку другая есть, – подал голос рябой. – Говорят, ежели молнией сразу не убило – жить тому до ста лет. А командира эвон как шархнуло!

– Чего несете-то? Чего? – взъерепенился ротный Шершнев. – Я слышал, если человек траву не мнет – святой он...

– Святой, ежели по воде ходит, – возразили ему.

– Мужики! – заблажил тут рябой, хватая бурдюк. – Полная кожинка воды! Холодная, мужики!

– Для тебя припасено! – огрызнулся ополченец и толкнул рябого. Но тот со смехом уже рвал сыромятный узел. К нему потянулись взбалмошные и веселые красноармейцы, на миг не слышно стало песни. И вдруг этот гвалт прорезал долгий, на высокой ноте, крик в степи. Он был понятнее тревоги, сыгранной на трубе, и роты, словно напуганные овцы, сшиблись в кучу, соединив-таки три пути в один.

Андрей вскочил на коня и, крутясь на месте, выхватил шашку. Впереди навстречу полку галопом мчался дозор.

– В цепь! – крикнул Андрей, вращая шашку над головой.

Полк, повинувшись команде и сигналу, стал разворачиваться в цепь.

Подскакали дозорные на взмыленных конях.

– Белые! – выпалил красноармеец. – Версты три!

Подъехал возбужденный комиссар, спешил и полез рукой под кожу потника – что-то прятал или, наоборот, доставал.

– Эскадрон и сотни полторы пехоты, – докладывал дозорный. – Идут прямо на нас. Впереди разьезды! Вот-вот наткнутся!

Он отвязал фляжку от седла и стал пить.

Красноармейцы, растянувшись цепью, падали в траву и все почему-то жались друг к другу, переползали ближе к середине. Андрей разослал конных по флангам с приказом разомкнуть цепь и остался вдвоем с комиссаром.

– Может, не ввязываться? – спросил Шиловский. – Обойти справа...

– А нам во фланг ударят?! – оборвал Андрей. – Да и не успеем. Казаки на хвосте висят. Попадем между двух огней... Надо прорываться к «чугунке». – И неожиданно добавил с тоской и сожалением: – Эх, комиссар, были бы у нас погоны... А взять негде. Негде!

– Не носить вам погон, Андрей Николаевич, – старательно выговорил Шиловский. – Теперь уж нет. Забудьте и не вспоминайте.

– Жаль, – серьезно сказал Андрей. – Надели бы мы сейчас эполеты и спокойно, в строю, прошагали бы не только через насыпь, а и через Уфу... Правда, вам они не к лицу были бы, комиссар...

Он проскакал по фронту полка, подымая людей. Красноармейцы вставали, выставляя винтовки, хотя степь впереди была еще свободной. Изломанная цепь пошла, скрываясь по пояс в белесой траве. Андрей проехал вперед и уже поднял бинокль, чтобы осмотреть зыбкое пространство, но вдруг спиной ощутил опасность. Представилось, как тот, белоглазый, вскинул сейчас винтовку и с колена выцеливает его, ждет момента, когда можно надавить на спуск. Андрей почувствовал озноб и, пришпорив коня, помчался на левый фланг, к комиссару. Но холодящая спину опасность не отставала, неотвязно дыша в затылок. Она чем-то напоминала оставшийся в зрительной памяти размашистый зигзаг молнии – не сморгнуть сразу и не привыкнуть.

Тогда он вернулся назад и, поджидая цепь, прилег, обнял шею коня, прижался к ней лицом. Под тонкой кожей дончака билась в жилах горячая кровь, и трепетала под щекой влажная короткая шерсть. И Андрей сразу успокоился. Он словно обогрелся возле коня, как от печи в знобкое осеннее ненастье. Потом он поднял бинокль и несколько минут осматривал степное пространство. Сквозь марево он различил мутные и темные контуры лошадей, похоже, удерживаемых коноводами, группы спешившихся людей и редкие одинокие фигурки в высокой траве. В какой-то момент Андрей даже почувствовал разочарование, что белых было не так густо. Однако этот участок степи имел едва уловимый, но ощутимый зловещий оттенок. Вот стремительно промчался разъезд, возвращаясь к своим, и поднятая копытами пыль надолго повисла в воздухе, замутив светлое марево. Потом он рассмотрел несколько повозок, запряженных парами, походную кухню – все это за связками коней, в тылу. Он перевел взгляд еще дальше, вглубь, надеясь там отыскать какие-то признаки войска большой силы, но и там лежала нетронутая, зыбкая, как песок, степь без единого торного следа.

Андрей выехал на полверсты вперед полка и теперь уже хорошо различал группы всадников (каждая по численности равнялась взводу) и редкую строчку цепи между ними. Противник стоял, похоже, поджидая наступавших, и, судя по видимым его силам, по поведению, происходило что-то необычное. Возможно, там думали, вступать в бой или отойти пока не поздно к железной дороге, поближе к эшелонам.

А что, если противнику неизвестно, сколько штыков идет навстречу ему? И, пользуясь замешательством, взять да и ударить сейчас с ходу и открыть дорогу не только к полотну, но и за него: в этом месте чехи вряд ли держат большие силы...

С правого фланга на взмыленной, запаленной лошади прискакал дозорный.

– Их сотен до четырех! – крикнул он. – В траве лежат!

– На место! – приказал Андрей и скомандовал подбегающим красноармейцам: – В цепь! Всем в цепь!

- Что происходит? – тревожно спросил комиссар. – Почему они не стреляют?
– Не знаю! – зло бросил Андрей. – Спросите у них!

А цепь сама собой выровнялась, зашагала шире, увереннее; натянулась кожа на обожженных солнцем скулах и лбах. До противника оставалось сажень четыреста, когда Андрей увидел тройку конных, отделившихся от противника. Похоже, лошади были свежими, всадники приближались стремительно, и Андрей передал по цепи – залечь! Красноармейцы попадали в траву, лишь один кто-то привстал на колено, держа винтовку у плеча.

- Не стреляйте! – закричали конные, переводя лошадей на шаг. – Не стреляйте!

Конь под Андреем заплясал, вскидывая голову, раздутые ноздри тянули воздух. Шиловский немедленно оказался рядом, его лошадь дышала у левого бока.

- Что? Переговоры? – коротко спросил комиссар. – С какой целью?
– Поедем – узнаем, – ответил Андрей.

Парламентеры остановились, поджидая. Бинокли их шарили по траве, кони хапали траву.
– Езжайте один! – вдруг начальственно распорядился Шиловский. – Только без глупостей, Андрей Николаевич. Не забывайте о сестре.

Андрей молча замахнулся на комиссарскую лошадь, та нервно шарахнулась, чуть не уронила седока. Шиловский едва удержал равновесие. Андрей же, пришпорив своего дончика, поскакал навстречу парламентарам.

- Помните сестру! – крикнул вслед Шиловский.

К всадникам противника Андрей подъехал шагом и остановился в пяти саженьях. Те сидели, развалившись в седлах, пили воду из фляжек.

– Я от полковника Махина! – представился поручик в белой от солнца гимнастерке и, тронув коня, выехал чуть вперед.

Андрей сразу узнал его и фамилию вспомнил – Караулов. Он был при штабе Махина, когда тот служил красным, и именно он, Караулов, привез Андрею последний и бессмысленный приказ отойти в степь. Погоны на поручике сидели ладно и к месту, будто он и не снимал их никогда...

- Не признал вас, капитан!.. Говорят, к богатству... Значит, живы? И слава богу!

- Чем обязан? – сухо спросил Андрей, удерживая лошадь.

– Приказ Махина: завтра к утру быть вам с полком в Уфе, – сообщил серьезно Караулов. – С вооружением и полной амуницией, пешим строем поротно.

- Передайте ему: его приказам больше не подчиняюсь! – отрезал Андрей.

– Ну хватит, Березин! – прикрикнул поручик. – Хватит мотаться! Сам притомился и полк притомил! – Он перекинул ногу через холку коня и достал папиросы, закурил. – Все, капитан, спектакль закончился. – Он совсем уж по-домашнему устроился в седле, попыхивая дымком. – Финита ля комедия!

Двое других откровенно скучали и маялись от жары.

- Я дал слово офицера, – сказал Андрей. – И подписал обязательство.

- У вас взяли! Взяли слово офицера! – звонко проговорил поручик.

- Вы все сказали? – спросил Андрей.

Караулов сбил фуражку на затылок и похлопал коня по шее.

– За исключением одной детали... Если не построите полк, капитан, и не приведете в Уфу, из степи вас не выпустим... А здесь нынче жарковато будет.

Он вдруг напрягся, выплюнул папиросу и, перебросив ногу через холку, поймал мыском стремя.

Андрей обернулся к своим. Полк стоял сгрудившись, и Шиловский, гарцуя на коне перед красноармейцами, что-то говорил им, показывая рукой в сторону противника.

– Агитирует! – восхищенно сказал поручик и расслабился. – Это есть наш последний и решительный бой!.. Кто это? Не Шиловский?

– Не ваша забота, поручик, – буркнул Андрей.

– Да-а, – почему-то озабоченно протянул Караулов. – Я вам, Березин, по секрету скажу. Там, у наших в тылу, тоже агитаторы. Чехи с пулеметами, заградотряд. Толковые с-суки, доложу вам... Всем худо будет, капитан. Если вы беспокоитесь за судьбу сестры...

Он помедлил, и Андрей насторожился, натянул повод:

– Что с ней?

– А так и так расстреляют. Не валяйте дурака, Березин! Выполняйте приказ!

– За что расстреляют?! Я же не предал красных!

– А командарм Махин? – с вызовом спросил Караулов. – Значит, и вы заодно! Разбираться не станут, времени нет. Поверьте, капитан, я знаю большевиков. Не тешьтесь надеждами.

– Я вам не верю.

– Почему? – обескуражился поручик, замерев в ожидании.

Андрей не ответил. Он и сам точно не знал, почему нельзя верить Караулову. Просто перед его глазами явственно стоял тот, красный Караулов, порученец красного Махина. Выглядел он тогда бравым командиром: скрипучий кожан, фуражечка со звездой, новенькая гимнастерка. Быстро двигался, все про всех знал, весело покрикивал и даже агитировал за Красную Армию, за Советскую власть.

– Не верю, – повторил после паузы Андрей и козырнул: – Честь имею, прощайте.

Он развернул коня. Шиловский все еще говорил перед бойцами. Караулов подъехал почти вплотную.

– Слушайте, Березин, – заговорил он отрывисто. – Черт с вами, если не верите, если вы такой чистоплюй! Выдайте мне Шиловского – и катитесь! Складывайте оружие – и на все четыре стороны. Никто не тронет. Слышите?

Андрей не ответил, поехал шагом к своим.

– Что вам красные?! – закричал вслед поручик. – С комиссаром детей крестить?! Они вашу сестру взяли! А что с ней – знаете?

Кажется, конь сам встал, словно натолкнувшись на незримую стену. Андрей сгорбился и неловко вывернул голову.

– Даю вам час срока! – крикнул поручик. – И возможность смыть позор!

Андрей выпустил эфес, жестко рванул поводья, поставив жеребца на дыбы, и с места пустил его в галоп. И тут же услышал строенный стук копыт по твердой земле: поручик со своими мчался в другую сторону.

Достигнув цепи своего полка, Андрей бросил лошадь, отбежал в густую траву и упал на землю лицом вниз. На зубах захрустел песок...

Уже через минуту рядом был Шиловский. Он радовался и не скрывал этого.

– А вы молодец, Андрей Николаевич! Вам можно доверять!

Андрей порывисто сел, крикнул:

– Плевать я хотел на ваше доверие! Понятно?!

– Что с вами, Андрей Николаевич? – миролюбиво и участливо спросил комиссар.

– Ложь! Кругом одна ложь! – крикнул Андрей, но тут же попытался взять себя в руки. – Спектакли играют... А я не игрок и не актер! Кому верить? Где моя сестра?

– Верить можно только в идею, – мгновенно ответил Шиловский.

Андрей зло усмехнулся, но промолчал, согнул шею, доставая грудь подбородком.

Комиссар выждал, когда успокоится дыхание Андрея и расслабятся мышцы, сковывающие руки; затем спросил осторожно:

– Что им нужно?

– Чтобы мы сложили оружие, – помедлив, сказал Андрей и поднял голову. Он хотел добавить, что Караулов предлагал выдать его, Шиловского. Однако смолчал, прикусив губу. Шиловский перехватил его взгляд и словно бы прочитал затаенную мысль.

– Предлагали выдать комиссара? – спросил он, шуря острые глаза сквозь стекла пенсне.

– Да, – отозвался Андрей. – И дали час времени на раздумья.

– Что ж, сдавайте меня, – улыбнулся Шиловский, но тут же заторопился: – Шучу, шучу, Андрей Николаевич, не обижайтесь.

– Кстати, у вас есть часы? – вдруг спохватился Андрей. – Мои остановились...

– Есть, – не сразу проговорил комиссар и поглядел на своего коня. – Зачем они вам?

– Часы нужны, чтобы знать время, – язвительно отчеканил Андрей. – Казаки на подходе! Через два-три часа могут ударить в тыл! А эти – в лоб! Всё! Давайте часы. И оставьте меня...

Шиловский встал, нырнул рукой под кожу потника, пошарил там, вытащил часы на цепочке, протянул Андрею.

– За железной дорогой верну, – пообещал Андрей и прочитал надпись на крышке: «Шиловскому М.С. за агитационную работу в “дикой дивизии”». Он спрятал часы в карман и добавил: – Непременно верну, не беспокойтесь.

– Да уж верните, – улыбнулся комиссар. – Наградные.

– Верну, – еще раз пообещал тот. – А сейчас поезжайте.

– Куда?

– Один хочу побыть! – закричал Андрей. – Один! Понимаете?!

Шиловский пожал плечами и неторопливо пошел прочь, уводя коня в поводу. Андрей снова лег на землю. Прикрыл глаза, прислушался. Вдруг показалось, что он остался совсем один в этой бескрайней чужой степи. Было тихо: умолкли кузнечики в траве, унялся ветер, истаял мягкий шорох ковыльных метелок... В ушах тихо позванивало, будто от банного угара, и дышалось с трудом, словно ему опять сыпали на грудь землю. И еще он почувствовал жгучий жар солнца на щеках и пылающие, натруженные ноги в раскаленной коже сапог.

Он сел, огляделся. Конь стоял рядом и выщипывал траву, растущую у самой земли и потому хранившую больше влаги. Серые бархатистые губы лошади, чудилось Андрею, становились вдруг твердыми и жесткими, как каблук, когда с треском срывали крепкую степную траву.

Лошадь вскинула голову, раздув ноздри, настороженно повела ушами. Андрей встал на ноги, взял коня под уздцы и медленно пошел вдоль цепи красноармейцев, отыскивая взглядом комиссара. Шиловский оказался в тылу полка. Он сидел на земле, подложив под себя седло, а рядом, откинув хвост и вытянув шею, лежала загнанная насмерть лошадь; голубоватый, без зеницы, глаз был еще прозрачен и светел.

– Что случилось? – спросил Андрей, кивнув на коня.

– То и случилось, что видите, – уклончиво и недружелюбно бросил комиссар.

Конечно, лошадь под Шиловским была не ахти какая, но чтобы и ее загнать – это надо постараться. Интересно, куда он ездил?

Однако Андрей не стал вдаваться в подробности насчет коня, а предложил Шиловскому продолжить переговоры с противником и попробовать склонить белых к братанию.

Комиссар вскочил и мгновенно забыл о павшей лошади.

– Братание? – ухватился он за слово. – Вы что, сумасшедший? Брататься с предателями?!

– Мы же с немцами братались! – отпарировал Андрей. – А перед нами сейчас даже не чехи – русские! Они же вчера еще у красных были! Вы же умеете разговаривать с народом!

– С народом – умею! – звеняще проговорил Шиловский. – С предателями – не умею и не хочу!.. Не знаю, какой вы полководец, – он сорвал пенсне, – но политически вы человек беспомощный! Перед нами – враг! И тем опаснее, что предал идеалы революции!

– Но они же – наши, русские! – не сдавался Андрей. – Можно же как-то договориться!

– Попробуйте, – вдруг предложил комиссар. – Езжайте и попробуйте... Только хорошо ли это... Рассудите сами: красноармейцы рвутся в бой, а вы пойдете на сговор с врагом?!

– Они? – не поверил Андрей и показал рукой на невидимую в траве цепь. – В бой?

– А вы спросите у них, спросите! Хотят ли они брататься с предателями?!

Андрей помолчал, глядя в сторону противника. Тихо было там, будто и нет никого...

– Все это похоже на самоубийство, – пробормотал он. – Если и прорвемся – в крови потонем...

Комиссар глянул Андрею в глаза, покачал головой:

– Многого вы еще не понимаете... Даже что такое – революция. И вряд ли скоро поймете. Нужно немедленно атаковать, не раздумывая.

Андрей отошел в сторону, постоял в какой-то словно бы забывчивой нерешительности, затем, словно враз опомнившись, вскочил в седло и поскакал.

– Пора! – подстегнул сам себя, ощущая привычные для такого момента щекотный озноб спины и светлую льдистость набегающих слез. – Атака! Атака!

Лошадь послушно вынесла его перед полком, закружила на месте. Андрей рванул шашку из ножен и вместе с нею будто рвал из себя остатки всех сомнений.

– Слева и справа! Перебежками!.. Вперед! Впе-ре-ед!

И полетела налево, полетела направо ударной волной переданная по цепи команда. Цепь сразу же связалась, сомкнулась, обозначилась по всему фронту. Встали так дружно, одним духом, но вместо радости от удачного начала (как много значит, с каким духом встали бойцы) Андрей чувствовал легкую растерянность. Как же нужно было агитировать их, какие слова говорить, чтобы вот так они поднялись и пошли на верную смерть?! По крайней мере большинство из них. Ведь знают, на что идут! Андрей обернулся и поискал глазами комиссара: мелькнули в траве его кожаная кепка и рука с маузером...

Полк двинулся перебежками, и ковыльная степь зашевелилась, наполняясь криком. Прежде чем поскакать вперед, Андрей еще раз окинул взглядом цепь. И неожиданно увидел, как с земли, там, в тылу полка, следом за красноармейцами поднялась в воздух рваная туча воронья. Она клубилась, разбухая, и, набрякнув плотной чернотой, медленно потянулась над степью.

Андрей лишь отметил это, как отметил бы в тот миг выбитого из цепи солдата – со спокойным терпением, потому что шашка была в руке и встречный ветер вышибал слезу. Еще через секунду он напрочь забыл о черной птичьей туче, поскольку в тылу противника длинно и хлестко застучали пулеметы. Остановив коня, Андрей вскинул бинокль: трава плескалась под ветром, двоились в мареве оседланные кони. Глухо стукнуло несколько винтовочных выстрелов, а после короткой паузы пулеметы ударили злее, короткими очередями.

В какой-то миг Андрей вдруг понял, что происходит в стане противника: чехи заградотряда гонят солдат в бой! Он прильнул к шее лошади и помчался вперед, оставляя цепь. На скаку он видел, как из травы поднимаются люди с винтовками наперевес и как разворачивается в боевой порядок разреженный по фронту эскадрон.

Он не вытерпел – закричал, хотя на той стороне вряд ли могли его услышать:

– Стойте, братья! Не стре-ляй-те! Остановите-е-есь!..

Противник замешкался. Но Андрей не смог толком рассмотреть, что там делается, – мешали брызнувшие вдруг слезы. Он смаргивал их и кричал, задыхаясь от ветра:

– Стойте! Остановите-е-есь!!!

Но там, куда он кричал, снова застучали пулеметы, и даже сквозь слезы стало видно, что белая цепь пошла на него по всему фронту. Конь под ним неожиданно порскнул в сторону, закружился на месте, припадая на задние ноги. Он обернулся: пуля вспорола кожу на крупе, и яркая кровь заливала шерсть.

– Не стреляйте! – еще раз крикнул он и увидел своих красноармейцев, бегущих в атаку.

Все, бесполезно...

Он бросил поводья и шагом поехал к своим. По нему стреляли. Позванивая, пули царапали воздух совсем рядом или с щелчком уходили в землю под ногами лошади. Андрей придержал коня, пляшущего на открытом месте, подождал цепь, уже без команды шедшую сплошным валом. И в этот момент кто-то схватился за стремя.

Андрей отвернулся и бросил коня в сторону.

– Ангелы! Ангелы летят! – прокричал незнакомый красноармеец, указывая в небо за плечами.

Там дымилось над землей воронье...

И больше Андрей никого уже и ничего не видел вокруг, потому что, сосредоточившись по флангам, конница противника ринулась лавиной навстречу цепи, вздымая стремительную белую пыль. А за нею, словно подхваченная ветром, покатила людская волна с клокочущим шипом и тихим, утробным ревом.

Ружейный треск, прыгающий горохом по степи, скоро умолк. Две волны мчались друг на дружку, расчесывая штыками высокие травы. Конный дозор, вылетевший навстречу эскадрону противника, вклинился, влип и через мгновение растворился, исчез, будто вода в песке. И первые вольные, без всадников, кони заметались по коридору между двух цепей.

Когда волны сшиблись, проникли друг в дружку, началась «работа» среди спелых ковыльных колосьев, похожая на молотьбу.

Андрея вдруг пронзила лишняя сейчас и потому губительная мысль – кого рубить? Он увидел малиновый русский погон, настолько привычный глазу, что занесенная рука дрогнула, увела пашку в сторону. А жеребец пронес его мимо, словно выбросил из свалки, которая уже началась за спиной.

На устах вязла и рвалась прикипевшая к языку фраза – никчемная уже и бессмысленная – «Стойте, братья! Не стреляйте!..».

Андрей усилием воли проглотил ее, стиснул зубы и развернул коня. И едва успел отбить пашкой штык, метящий ему в бок. В тот же миг из ствола дохнуло огнем, в упор – горящий порох опалил щеку. Стрелявший как-то удивленно вытаращил глаза и отскочил, передергивая затвор. Был он в русских погонах рядового солдата, с русской трехлинейкой в руках, но странно – чужим было перекошенное от страха и ненависти лицо, чужими были и руки, рвущие шишку затвора. Андрей едва не крикнул ему: «Погоди! Не стреляй!» – однако солдат дослал патрон, перехватил приклад за шейку, и на лице промелькнуло страстное, диковатое торжество. Андрей кинул на него коня, солдат выстрелил и снова промахнулся. Лицо исказилось ужасом, он сделал слабую и уже бесполезную попытку защититься от клинка поднятой в руках винтовкой, закричал, широко разевая рот и оскаливая белые зубы...

И тряпичный погон – символ того, стального, предохраняющего плечо от сабельного удара, – не мог спасти солдата. Роня винтовку, он упал сначала на колени, потом согнулся, будто кланяясь в конские ноги.

Андрей же, чувствуя жаркую волну остервенения, бросил жеребца в орущую кутерьму и, мгновенно выхватывая взглядом плечи с погонами, крестил пашкой налево и направо. И в этой круговерти уже не слышал выстрелов в упор, не видел, как дерется его полк и на чьей стороне перевес. Лишь случайно глянув вдоль фронта, заметил, как неприятельская кавалерия, смяв фланг, теснит и рубит кого-то в белесой траве. Андрей поскакал в ту сторону и уже почти достиг фланга, как жеребец под ним вдруг взвился на дыбы, осел на задние ноги и тяжело завалился на бок. Андрей машинально выдернул ногу из стремени и очутился на земле. Рядом несколько красноармейцев били с колена по всадникам, готовые в любую минуту сорваться и бежать в степь.

– По лошадям! – заорал Андрей, выхватывая наган. – Бейте по лошадям!

Откуда-то из травы короткими очередями ударил по кавалерии пулемет. Окруженные пехотой, десятка три конных крутились на месте, взлетали клинки, скрежетало железо. Пулеметный огонь разредел кавалерию, но вдруг замолк. Стреляя, Андрей побежал к своим, стоявшим против конных. Винтовочный огонь усилился, где-то рядом бормотнул еще один пулемет, только не понять – чей...

Неожиданно Березин увидел оскаленную конскую пасть и летящий, как молния, клинок. Он вскинул шашку, чтобы отбить удар, но тут в глазах его сверкнул белый грозовой сполох, разлился блистающим кипятком и охватил все пространство...

2. В ГОД 1905...

Косить в Березине по правилу, заведенному еще старым барином, начинали в Иванов день.

Травы на заливных лугах к этому времени набирали рост и сок, зацветали разом и сильно; от запаха кружилась голова, глаза уставали от буйной пестроты, и если случалось ехать верхом смотреть покосы, то копыта лошадей становились желтыми от пыльцы, словно у новорожденных жеребят, а старого барина начинал мучить долгий кашель.

Андрея и Сашу – мальчиков-близнецов – стали брать на покос лет с четырех, и канун Иванова дня с тех пор казался Андрею длинным, наполненным бесконечным ожиданием и всплесками восторженной радости, будто перед праздником. Он боялся проспать, когда отец начнет закладывать лошадей на конюшне, поэтому и сон был тревожный, с незатихающей мыслью, что забудут разбудить и уедут без него.

Вот забрякал цепью колодец – нынче его чуть ли не досуха вычерпают, запасая воду; вот бабы сыплют горох в котел, чтобы размочить; с заднего двора сквозь петушиный крик доносятся тяжкие, утробные вздохи – это конюх катит бочонок с дегтем, чтобы смазать колеса косилок, телег и ходков, а заодно и сбрую, яловые сапоги, чтобы не промокали от росы. А где-то в Березине звонко и призывно ударил молоток по бабке – наверняка какой-нибудь нерастойропный мужик, спохватившись, отбивает косу, чтобы со всеми поспеть к барскому двору.

И вот неизвестно как оказавшийся на конюшне отец (в доме даже половица не скрипнула) говорит торжественно:

– Что, Ульян Трофимыч, доброе нынче утро?

Теперь пора!

Андрей с трудом растолкал Сашу – тот уснул вчера с книжкой в руках, и непогашенная свеча так и дотаяла в подсвечнике. Щурясь от света, Саша пыхтел, бестолково путался в штанинах старой гимназической формы.

– Скорей же, скорей!

Не умывшись, они выбежали во двор. Барин самолично запрягал коней, с удовольствием оглаживал, охлопывал их крутые бока, весело покрикивал на отвыкших от узды жеребцов, приголубливал, ласкал породистых кобылиц (пускай поработают, полезно для материнского здоровья) и добродушно ворчал на раздобревших, в яблоках, мерингов. Лошадей Березины любили, и любовь эта передавалась вместе с наследством. Каждую осень, перед ярмаркой, на дворе оплакивали и уводили из табуна обученных в упряжь и под седло трехлеток. И гоняли потом на березинских конях ямщину по долгим сибирским трактам, куражились на тройках фартовые приискатели и купцы-гулеваны; другие же кони и вовсе попадали под казачьи седла, привыкали к пальбе, к свисту шашек над ушами, к крови...

Пока барин запрягал коней, к усадьбе Березиных тянулись мужики-работники. Они вешали косы на заплот и, ожидая хозяина, рассаживались на земле с тем степенным и пустячным разговором, как если бы ждали приглашения к праздничному столу. И все ощущали какое-то радостное нетерпение, чинно и с шутками здоровались, развязывали кисеты... И вот уже кто-то, прильнув к щели в заплоте, глядел во двор:

– Может, спит еще Николай-то Иваныч? Барыню обнимает?

– Где уж... И барыня вон пироги месит! Поди, с рыбкой будут, а? С нельмой!

– Какая ж она барыня-то? Ха-ха-ха! О-хо-хо-хо! Прошки Греха девка!

– Была девка, да барыня стала. Вот тебе и «ха-ха»!

– Тады и Прошка – барин! О-хо-хо!..

Заложив пары в ходки и косилки – сыновья помогали, – барин заспешил во двор, глянуть, накрыты ли столы у красного крыльца, поторопил жену, кухарку, попробовал густые – ложка стоит – щи, горох с мясом и между делом сосчитал косы на заплоте.

Наконец стулья расставлены, ложки разложены. Отец распахнул створки ворот, поклонился мужикам, пригласил к столу. Мужики вставали, степенно здоровались (кто постарше – отвечали на поклон поклоном), неторопливо дотягивали самокрутки, шутили и с нарочитой ленцой тянулись к столу. На бойких березинских мужиков вдруг напала робость: они мялись, комкая шапки, не решаясь сесть на барские стулья, умащивались на скамейки, однако мест на всех не хватало. Самые решительные, смущенно отряхивая портки – «дак замараем, эвон штаны-ти какие», – все-таки пристраивались на самые краешки стульев.

Барин с женой и детьми завтракали вместе с работниками. Застолье дружно брякало ложками, вкусно отпыхивалось; Андрея распирало от счастья и удовольствия: все казались такими милыми и родными, что можно было к каждому приласкаться, у каждого посидеть на коленях.

Мужики, разомлев от пищи, приноравливались к непривычным стульям, кто-то уже и развалился, будто всю жизнь на бархате сиживал. Однако солнце, вываливаясь из-за лесного гребня, поднимало мужиков. Крестьясь наскоро и дожевывая на ходу, они шли к телегам, складывали косы на задки, затем рассаживались по бортам, свесив ноги, и брались за ременные вожжи.

– С богом! – торжественно провозглашал отец. – В добрый час!

И разом заполнял утреннюю тишину звонкий стук копыт по торцовой мостовой двора, множился, откликался эхом.

– На покос хоч-чу-у! – чистым и высоким детским голосом кричала Оля, вырываясь из рук матери.

Весь ритуал домашних сборов, а потом веселой утренней дороги на луга, косьбы, ночевки в шалашах, катания на лодке и на стреноженных конях стал будто родимое пятнышко, которое не стирается до смерти. Особенно сладко вспоминалось зимой. Так и стояли перед глазами цветущие луга, жаркое солнце, белые, пропотевшие рубахи мужиков и длинные, в версту, ряды увядающей травы. А над всем этим – громогласный и бесконечный стрекот кузнечиков и запах цветов, к которому нельзя привыкнуть.

От воспоминаний покоса всегда наворачивались слезы, и стылые дома за окном, сугробы, люди начинали двоиться, расплываясь и теряя очертания, будто от жаркого летнего марева на лугу. Каждую зиму Андрея и Сашу увозили в Есаульскую гимназию за тридцать верст от Березина. Жили они у дяди, есаульского владыки Даниила, в большом каменном доме, где всегда пахло воском и ладаном.

Как-то раз, возвращаясь из гимназии, Андрей с Сашей заглянули в мясные ряды, где еврей Мендель продавал чесночную колбасу. Постояли они возле прилавка, понюхали, глотая слюнки, и, верно, так бы и ушли, если б Мендель не заметил их и не стал предлагать купить всего один кружочек. И так соблазнительно вертел сальной рукой этот кружок перед самыми носами, так расхваливал, что лопнуло всякое терпение. Они стали рыться в карманах, может, заваялась какая копеечка, но в то время карманных денег им еще не полагалось, и Саша, уже тогда не по возрасту мудрый, сказал, дескать, колбасу нынче есть нельзя, грех. Мендель засмеялся, мол, ведь можно так: съесть колбасу, а потом попросить у Бога прощения. И стал толкать круг прямо в руки без денег, в долг. Андрей не выдержал, схватил колбасу, и они ушли за пустой базарный прилавок, спрятались там и съели весь круг. И тут хватились, что от них разит чесноком. Теперь являться с таким запахом в дом дяди – значит получить новое наказание. Чего доброго, отправит насильно в монастырь. Однажды он так и пригрозил, если слушаться не будут. Тогда они решили погулять по улицам и как следует продышаться...

Они долго блуждали по немощенному уездному Есаульску, дыша полной грудью до головокружения и щурясь на солнце. Ноги сами потянули в ту сторону, где за тридцатью верстами был родной дом.

– Давай сходим домой? – предложил Андрей. – Минуточку побудем – и назад. Вот бы маменька обрадовалась!

– Мы не дойдем, – серьезно рассудил Саша. – И дядя станет искать.

– Ты как хочешь, а я пойду! – заявил Андрей и, подкинув ранец на плечах, зашагал по дороге.

Саша постоял, постоял, глядя ему вслед, и заплакал. Он сел на обочину, в свежую, еще не пропыленную траву и, вытирая слезы ладошкой, смотрел то назад, то на удалявшуюся фигурку брата.

– Не ходи! – позвал он безнадежно и сильнее заплакал. – Не дойде-ем...

Когда стало понятно, что брат не вернется и уйдет один, Саша вскочил и побежал догонять. Он бежал и молча плакал, часто озираясь назад, словно ждал погони.

Андрей утер ему лицо платком и стал рассказывать, как дома сейчас хорошо, и что там сестра Оленька совсем соскучилась одна, и они сейчас по дороге нарвут ей букет цветов, чтобы потом поставить в широкую вазу, где летом ставили бутоны роз; и она будет нюхать эти полевые цветы, радоваться и ночью просыпаться, чтоб снова понюхать. А потом, утром, они втроем заберутся на башенку и будут смотреть в подзорную трубу на разлив, и на уток в озере, и на жаворонков в небе. И он, Саша, будет смотреть дольше всех. Саша молчал и по-прежнему тихо плакал. Однако шел, побрякивая пеналом в ранце.

Между тем солнце стало садиться, кончились придорожные поля и потянулся светлый березовый лес. Цветы, набранные для сестры, начали съезживаться, а стебельки их в горячих руках истончились и раскисли. Когда солнце спряталось за деревьями, сразу потемнела дорога, почернели лужи, и даже березовый лес, посветив немного, скоро померк и растворился в ночи. Впереди, где-то далеко-далеко, вдруг возник призрачный огонек – наверное, какая-то придорожная деревушка, – однако сколько Андрей и Саша ни шли к нему, светлячок этот не приближался, а, наоборот, словно бы убегал все дальше и дальше, мелькая среди деревьев. Дорога отчего-то стала мягкая, качалась под ногами, и не было ей ни конца, ни края. А они все шли и шли, стискивая в кулаках увядшие цветочки. Неожиданно рядом оказалось кладбище. Несколько новых крестов у дороги белели в темноте, и легкий ветер шевелил на них концы привязанных полотенец. Андрей схватил Сашу за руку, и они побежали, стараясь не оглядываться...

Было, видимо, далеко за полночь, когда они решили немножко отдохнуть под высоким ветровальным корневищем. Они нашли местечко, сложили цветы, а сами сели, прижавшись друг к другу, и почти сразу оба заснули. Однако остывшая ночью земля быстро остудила разогретых ходьбой мальчиков; они еще теснее жались друг к другу, но это мало помогало – все равно тряслись от озноба.

Братья проснулись разом, когда на взмыленных конях примчался дядя, владыка Даниил. Кучер Никодим остановил лошадей, развернув карету боком, а дядя открыл дверцу и некоторое время смотрел на лежащих племянников взглядом тяжелым и печальным. Никодим не спеша слез с облучка и, нагнувшись, крепко схватил мальчиков за уши своими железными пальцами. Ни тот ни другой опомниться не успели, как уже были перед дядей: стояли, тараща глаза и не смея шелохнуться. Дядя велел взять шинели и садиться...

Через несколько дней приехал отец. Они с дядей долго о чем-то говорили. Потом отец усадил обоих сыновей на дрожки, и до вечера они катались по городу. Отцовых рысаков в Есаульске знали, и многие встречные раскланивались с отцом и смотрели на его сыновей с интересом: весть о том, что потерялись племянники владыки, мгновенно облетела город. Отец ни о чем не спрашивал сыновей, не ругал их, только твердил, что скоро лето и снова будут

благодатные покосные дни, и все повторится, что было в прошлом году. И так теперь будет повторяться всю-всю жизнь.

Прошел год после неудачного побега. Андрей, глядя в окно, снова томился в ожидании каникул и лета, а Саша, как всегда, уединился в библиотеке дяди. Владыка был в отъезде. И вот Саша неожиданно предложил открыть шкаф, запираемый всегда на ключ. Там хранились самые старые книги в серебряных и золоченых переплетах. Брат давно примеривался к этим древностям и просил дядю хотя бы подержать в руках одну из них, но тот отказывал, мол, рано трогать такие книги. Саша часто стоял у этого шкафа, поглаживая темное стекло боязливой рукой. Тут же они оставались в доме почти одни, если не считать кухарку, и Саша решился. Андрей не долго думая нашел подходящий гвоздь, поковырял в несложном замке и открыл.

Кроме книг, здесь было множество папок с какими-то церковными делами и письмами. Андрей полистал старинные книги и совсем было потерял интерес к ним, как в руки ему попала спрессованная от долгого лежания папка с бумагами и гербовыми печатями из сургуча на суровых нитках. Андрей стал читать и уже не мог оторваться – из папки веяло настоящими приключениями: на первом листке урядник доносил начальству, что обнаружил странного содержания грамотки в своем околотке у крестьян и дознался, что где-то в тайге есть поселение людей, которые очень давно прячутся от властей, имеют свою какую-то особую веру и даже церковь, где занимаются богомерзкими делами. Да и сам образ жизни их настолько непривычный, по свидетельству бывалых людей, и чудной, что он, урядник, и описать-то как не знает. Одним словом, существование этой секты было вредно и опасно своей ересью, и урядник ходатайствовал перед станowym приставом о продолжении дознания. Тут же была грамотка, написанная кирилловским письмом, – что-то вроде проповеди, только читалась она как стихи. Говорилось в ней, будто все на свете – звери, птицы, деревья, цветы и реки с озерами, ключами и ручейками, – все живое и неживое имеет будто бы душу и живет почти так же, как и человек, и что Бог создавал человека не для управления миром, а лишь как частицу мира. Но человек совершил грех, нарушив замыслы Создателя, и овладел без позволения свыше способностью мыслить и потому заслужил наказание – стал злобным, корыстным, болезненным и недолговечным. То есть теперь человек рождается для мучений, тогда как все остальное, созданное Богом, живет в счастье и гармонии. Однако люди, которые поймут это и захотят вновь стать Человеками, должны пройти путь очищения в Лесах, и там они обретут Мир, Любовь и Труд, завещанные первоначально Богом. И если кто жаждет всего этого, может взять грамотку, и она приведет в Леса, откуда его уже никуда не потянет.

Затем Андрей наткнулся на длинный отчет двух монахов, которых игумен посылал искать с этой грамоткой неизвестные Леса. Монахи, будто настоящие лазутчики, ходили-бродили целых три года, расспрашивали всех встречных-поперечных и грамотку показывали, но ничего не нашли, хотя многие люди обещали показать в тайге место, где живут сектанты. И водили показывать, да все время случался казус: место вроде то, а людей нет и никакого следа, что когда-то здесь жили. Зато монахи случайно наткнулись на больного умом человека по имени Прокопий, который и писал те грамотки, и разносил. Потом этого Прокопия, видимо, разыскали и привезли в Есаульск, чтобы устроить допрос. А для испытания заставили написать такую грамотку, что Прокопий и сделал, повторив текст слово в слово.

Дело о неуловимых сектантах заканчивалось короткой запиской, в которой говорилось, что Прокопий пожизненно заточен в монастырскую тюрьму, дабы не смущал православных и не богохульствовал. А было все это в 1889 году, как раз накануне страшной холеры, которую неведомо кто занес в Березино.

Андрей с сожалением закрыл папку и хотел было взять вторую, но кухарка позвала ужинать. Братья быстро спрятали все обратно в шкаф, однако дверца гвоздем не запиралась. После ужина Андрей попытался еще раз закрыть замок, исцарапал скважину и лег спать в большой

тревоге. Но когда на следующий день вернулся дядя, то ничего не заметил, вернее, решил, что сам позабыл запереть, и еще посетовал на свою память.

Так бы и остался в тайне проступок племянников, если бы Андрей сам не проговорился. Эти Леса и странные сектанты не выходили из головы, к тому же Андрей с давних, младенческих лет и без грамотки считал, что все на свете – живое и имеет душу. Разве что мысли эти жили в нем подспудно, как бы сами по себе, никогда не приходя в голову осознанно. Допустим, если сидеть ночью у туманной реки, слушать ее журчание, шум и шелест донного песка, видеть, как дышит, вспучиваясь, ее глубина на водной глади, а то будто зевает, всасывает воздух крутыми воронками; короче, если просто видеть такое, само собой возникает ощущение, что удивительное это движение не зависимо ни от чьей воли и никому на свете не подвластно. Люди вот рождаются и умирают, а река все течет и течет. Или, к примеру, отчего птицы поют? Они же не люди, а поют!

И вот если единожды понять, что природа кругом живая, – у человека ни вопросов, ни сомнений не останется, и спорить нечего, есть душа у нее или нет.

Однажды в момент раздумий Андрей спросил дядю: откуда у человека берется душа? Дядя такому вопросу удивился, но посмотрел на племянника с одобрением.

– Душу человеку вдует Бог. Душа – Божье дыхание.

– Значит, у зверей и деревьев свой бог есть? – спросил Андрей.

Дядя что-то заподозрил, глянул вприщур, но сказал сдержанно:

– Все, что создано Всевышним на земле, все во благо человеку и ему в услужение. Человек – господин всему живому и неживому, потому что Бог создал его по своему образу и подобию. Бог же – господин над человеком. Так устроен наш мир.

– А я читал, что во всем душа есть, – не согласился Андрей. – Только человек взял и нарушил закон, и Бог его наказал всякими болезнями и мучениями.

– Погоди-ка, погоди, – насторожился дядя. – Где ты прочел такое?

Андрей спохватился, но было поздно: он понял, что выдал себя, у него уже пылали щеки и некуда было деть руки.

– Отвечай! Сию минуту!

Андрей молчал, потупясь, а владыка вдруг ослаб и испугался.

– В шкаф залезли? Что же из вас вырастет-то, господи? Что я вашему отцу скажу? Нет, все! Пусть приезжает сам и наказывает. У меня уж сил нет сладить с такими разбойниками. Запоры не держат!

На сей раз отец, уведомленный письмом, приехал мрачный, и с самого порога было видно – милости шкодникам не ждаться. Он как-то странно подергивал плечами, словно мерз, смотрел исподлобья и непривычно круто сводил брови. В руке его был припасенный черемуховый прут, которым он погонял лошадь, – отец не любил кнутов и ямщицких бичей, да и выращенные в его хозяйстве лошади в них не нуждались.

– Я учил вас, дети, не трогать чужого, – сказал он, глядя на повинно опущенные головы сыновей. – А вы что сделали?

– Тронули, – буркнул Андрей, а Саша только кивнул.

– Зачем тронули? – глухо спросил отец, отчего дядя, почуяв неладное и уже сожалея, что вызвал брата, поспешил умерить его пыл:

– Они уже покаялись. Впредь наука будет. Вот еще всенощную отстоят...

– Выпороть бы их! – резанул отец, сверкнув глазами. – Чтоб неделю не садились...

Неведомая раньше ярость отца потрясла Андрея, как если бы он вдруг узнал о нем что-то постыдное и гадкое. Андрей поднял голову и, встретившись взглядом с отцом, ощутил растерянность: невыносимо жаль было его в тот миг, и одновременно захлестывала острая и горькая обида. Хотелось броситься ему на шею, как бывало во всякий его приезд, обнять, пахнущего сеном и лесом, и шептать: «Папенька! Это же мы, папенька!»

– Нас пороть нельзя, – с неожиданным для себя вызовом сказал Андрей. – Мы дворянского рода.

Наверное, отцу показалось, что он ослышался.

– Что? – тихо вымолвил он. – Что ты сказал?

Саша крепко вцепился в руку брата, словно хотел быть поближе к нему, и в этот момент отец ударил прутом, и попало обоим сразу. Он размахнулся еще раз, но дядя перехватил руку, заговорил сбивчиво, торопливо:

– Коленька, что ты, что ты... Бог с тобой!

А сам толкал, выгонял вон племянников твердой, костистой рукой.

Братья убежали во двор, забились там между конюшней и дровяником, стараясь не глядеть друг на друга, спрашивали и сами же отвечали:

– Тебе попало? А мне так почти не попало...

– Тебе больно? Мне так почти не больно...

Но все-таки было невыносимо больно, и в глазах закипали слезы. От жалости и любви к отцу сердце стучало в горле, и еще через минуту невозможно стало сказать и слова...

Наутро, даже не попрощавшись с сыновьями, отец уехал. Андрей случайно увидел из окна спальни, как он, поцеловавшись с братом, садится в свои санки, бросился будить Сашу, однако отец уже выезжал со двора.

Затем они долго лежали на подоконнике и, чуть приоткрыв створку рамы, смотрели на высокие запертые ворота, увенчанные кованым заснеженным крестом.

Спустя несколько дней отец неожиданно приехал вновь, причем с домашними гостинцами, как всегда, ласковый и тихий. Только прежде чем обнять сыновей, на минуту опечалился, заглянул каждому в лицо и вдруг у обоих попросил прощения. Братья, изумленные и растерянные, во все глаза смотрели на отца, но на крыльцо вышел дядя, подтолкнул в спины:

– И вы просите, ну?

– Папенька, прости, – чуть ли не в один голос выпалили братья давно заготовленные слова. – Прости нас, папенька!

Потом отец просил прощения у своего брата, а тот – у отца, причем делалось это вместо обычного приветствия.

День тот, оказывается, был особенным – днем Всепрощения...

Теперь все забылось, ушло бесследно, поскольку впереди было бесконечное лето, день Ивана Купалы – начало покоса, и запряженные парами лошади катили телеги, брички и сенокосилки по утреннему белесому проселку. За спиной же оставался дом вместе с его раз и навсегда заведенными порядками и правилами, с гимназической формой, с ночными рубашками, с пуховиками, ранними, по-крестьянски, завтраками в столовой, с роялем, за которым надо провести один час в день даже летом. Впереди ожидалась вольная, счастливая и почти кочевая жизнь на целых три недели!

И все-таки было чуть-чуть печально оставлять дом. Печаль эта тринадцатилетнему Андрею была еще непонятна и связывалась с тем, что в доме оставалась мама с сестрой Ольenkой и что вечером, укладываясь спать на сенной матрац, под шубное одеяло, он не услышит знакомого шороха маминого платья, ее тихого голоса, не ощутит легкую руку на голове... Тогда ему еще казалось, что к дому человек привязывается через близких людей и если близкие рядом, то жить можно везде: в другом городе, в покосном шалаше или просто в стогу сена.

Андрей давно уже пересел с дрозжек в телегу к мужикам и, лежа на животе, слушал, как жесткая дорожная трава позванивает о полотно кос, привязанных на задке; как она бьется по лезвиям, но не режется, а лишь гнется, осыпая на землю вызревшие семена. Травы на дороге, несмотря на тяжелую свою долю под колесами и копытами, жили, причем проклевались раньше других трав, цвели и зрели быстрее. Длинный обоз покосников уходил все дальше сквозь поля и перелески, однако дом не пропадал из виду. Наоборот, он словно возвышался,

поднимался на холме; и так было всегда, когда Андрей уезжал из Березина. Дом поставили так, что он не скрывался, а с расстоянием делался меньше, меньше, пока не замирал светлой точкой на горизонте. Выходило, что его можно было видеть и из Есаульска, коли бы человеческий глаз мог охватить такое пространство.

Старый барин гордился своим домом еще и потому, что проектировал его знаменитый декабрист Гавриил Степанович Батеньков, о чем свидетельствовала витиеватая резная надпись под самым коньком.

Поместье в Березине основал дед Андрея, Иван Алексеевич, еще в 1850 году. Помнился он смутно, будто сквозь сон. Старый барин умер, когда Андрей был совсем маленький, и если бы не смерть деда, возможно, в памяти не осталось бы и этого эпизода. В день своей кончины Иван Алексеевич встал рано, надел крестьянский зипун, подпоясался кушаком и, взяв внуков за руки, пошел в поле. Дело было весной, после теплого ливня, когда песчаная земля напоминала только что отстиранное вальком и отполосканное холстинное полотенце. Дед вел внуков по мягкой пашне, глядел на солнце, дышал редко и глубоко, бормотал что-то радостное и бессвязное. Потом он снял сапоги, скинул зипун и, оставшись в исподней рубахе, присел на краю залога под сосной. Разувшись, внуки бегали по теплой грязи, ковырялись в земле и бродили по лужицам. Дед же сидел и сидел себе, прислонившись к сосне, не покрикивал, когда дети брызгались водой или возились в грязи. Прошло часа два, прежде чем Иван Алексеевич встал и повел внуков домой. Однако среди поля – до дому было рукой подать – он лег на землю лицом вниз и сказал:

– Вы, дети, ступайте домой. А я тут полежу. Вон как нынче тепло. Благодать наступила, лето...

И замолчал. Андрей почему-то испугался и заплакал. Вместе с Сашей они потянули деда за рубаху, за вялые руки, просили:

– Деда, домой, деда...

Иван Алексеевич не шевелился и будто заснул. Дети постепенно успокоились и снова стали возиться в теплой земле, стараясь не шуметь. Потом откуда-то прилетел черный огромный ворон и сел на спину деда. Андрей с Сашей не испугались и стали сгонять птицу, махая руками, а ворон не улетал – лишь приседал, распуская крылья...

В молодости Иван Алексеевич служил в гусарском полку, но той легкости и беззаботности жизни, о которой так любили поговорить обыватели, никогда не испытывал. Напротив, служба казалась тяжелой и жестокой, хотя он довольно быстро получил чин майора. Декабрьское выступление на Сенатской площади еще многие годы жило в памяти русской армии. Даже спустя двадцать лет помнили имена офицеров тайных обществ, хотя произносили их шепотом и с оглядкой, и именно загадочность вокруг этих имен странным образом зачаровывала и притягивала внимание молодых офицеров. Жизнь героев войны с Наполеоном, отважившихся восстать против престола, в устах потомков обрастала легендарными событиями и романтическими подробностями. Среди офицеров уже ходили по рукам сочинения Герцена, Сен-Симона и Чернышевского. И вот, начитавшись их, Иван Алексеевич попросил отставку и уехал в свое имение под Воронеж. Первым делом он отпустил на волю своих крестьян – сто сорок душ, дал им земельные наделы, а сам сел сочинять прожект, в общем-то безобидный для царского двора: отставной майор радел за процветание своего государства и видел его в переселении крестьян на сибирские вольные земли, где думал создать фермерские хозяйства по типу американских. Он приводил экономические расчеты, сравнивал их с положением дел в Новом Свете, и выходило, что через десяток лет в России должно наступить благоденствие. К своему прожекту Иван Алексеевич приложил собственное прошение об отъезде в Сибирь, где намеревался за три года доказать состоятельность своих соображений. И подал бумаги Николаю Первому.

Ответ царя был скорым и совершенно неожиданным. Ивана Алексеевича арестовали, препроводили в Петербург и посадили в секретный дом Алексеевского равелина. Когда про-

шло первое ошеломление, отставной майор стал соотносить, что к чему. На дознании у него спрашивали, кто еще посвящен в замыслы Ивана Алексеевича и есть ли связь с декабристами, многие из которых в то время находились в Сибири. Одним словом, Охранное отделение заподозрило, что отставной майор вздумал переселить в Сибирь огромные толпы крестьян, поближе к декабристам, чтобы там создать либо свое государство, либо армию и двинуться потом на Россию. Но, убедившись, что Иван Алексеевич сотворил прожект без злого умысла, Николай позволил ему отбыть в Сибирь и заняться там фермерским хозяйством.

Вдоволь насидевшись в равелине, он вернулся домой, чтобы собраться в дальний путь, и обнаружил полный упадок в своем хозяйстве. Поместье было давно заложено, земли зарастали бурьяном, а на конном заводе пали почти все племенные кобылы. Но главное – отпущенные два года назад крепостные кинулись барину в ноги, прося взять обратно в крепость, ибо уже успели пойти по миру, не умея толком распорядиться в своих хозяйствах.

– Осиротели мы! – кричали. – Не бросай нас, батюшко Иван Алексеич! Сгинем ведь, пропадем!

Иван Алексеевич объехал свое печальное поместье, поглядел на запущенные, а то и проданные крестьянские наделы и все-таки начал собираться в Сибирь. Поправлять хозяйство здесь уже не имело смысла. Он продал все, что можно, рассчитался с долгами и, отобрав из крестьян самых работающих – набралось восемьдесят душ, – двинулся в путь, хорошо натоптанный кандалниками. Оставленные им, теперь навсегда вольные, лодыри тащились за бариним верст сорок, будто бы провожали, но все просили не бросать их, и пока провожали, несколько человек с семьями пристроились к обозу.

В Сибири Иван Алексеевич выбрал место по тому времени в большой глухомани – за Есаульском. Было там всего одно село Свободное, зато прорва никогда не паханной земли и некошенных лугов. Он поселил своих крестьян так, чтобы у каждого было довольно всяких уголков, помог срубить избы и распахать пашни. Тогда деревни Березино не существовало и никаким проектом она не предусматривалась. Только раскиданные верст на тридцать хутора – примерно так, по-американски, представлял он заселение сибирских вольных земель. Старожилы из Свободного, окрестянившиеся казаки, вначале приняли новопоселенцев с миром, брали друг у друга невест и уже начали было перевязываться родней, как перевязывает рожь вездесущая повилка, – никто никому жить не мешал. Но скоро и неожиданно наступили перемены, предугадать которые Иван Алексеевич не мог.

Пожив на хуторах года три, переселенцы стали жаловаться на тоску и скуку одиночества, на зверье, что рыскает по ночам у заплотов, на то, что жизнь по хуторам делается все безрадостней и горше. Сначала крестьяне просили барина съехаться хотя бы по две-три семьи на одно место. Иван Алексеевич внимания этому особого не придал и позволил: вы, дескать, люди вольные, живите как вздумается.

Однако еще через три года он за голову схватился: хутора росли, будто снежные комья, и скатывались все ближе и ближе к поместью барина – такому же хутору, и на глазах по склону холма, где стоял тогда временный барский дом, образовалась деревня, очень похожая на обыкновенную российскую. Брошенные земли и уголья зарастали – далековато ездить, а бывшие «русские фермеры», как с гордостью называл Иван Алексеевич бывших своих крепостных, распахивали бросовые земли и неудобья – лишь бы поближе к дому. Ивану Алексеевичу потом многие говорили, чтобы он оставил свою затею – сделать из русских мужиков, привыкших жить в общине, американских фермеров, чтобы он перестал нянчиться с ними, как с детьми, однако упрямый отставной гусар всю жизнь гнул свое и под старость лет, одряхлев телом и умом, построил общественную пекарню для крестьян, где бы лучшие хозяйки выпекали хлеб на все село, так как сами крестьяне пекли кислый и невкусный. Однако это последнее его дело на благо угнетенного народа обернулось тем, что бабы в Березине вообще разучились печь хлеб, а пекарня собрала со всей округи, как речная заводь – несомый водой сор, ленивых и

пропившихся зимогоров, бесшабашных лодырей, погорельцев и нищих: Иван Алексеевич распорядился подавать всем.

Едва возникла деревня Березино, как сразу начались распри со старожилками из Свободного. На огромной и вольной сибирской земле стало тесно, люди скупивались, жались друг к другу, и в такой сутолоке волей-неволей наступали соседу на пятки, переходили чужие дорожки, а то и вовсе, отчаявшись, лезли по головам. Возникали ссоры и стычки из-за спорных угодий и пашен, из-за ореховых промыслов и охотничьих зимовий. Доходило до того, что схватывались даже смолокуры, хотя и причин-то особых не было: смолистых пней после пожаров хватало бы на несколько поколений. Старожилки на правах хозяев стремились удержать свое превосходство над новопоселенцами, поучали их, а те отчего-то упрямылись, показывали характер и, делая по-своему, не уступали. Такое состояние могло бы длиться долго, не перерастая в кровопролитные междоусобицы, да однажды пришло откуда-то из степей безвестное кочевое племя киргизов. Пришельцы угнали лошадей, скот у березинских крестьян, подожгли мельницу, только что отстроенную, задушили арканами двух пастухов. И потому, что они не тронули старожилков, сразу же возникла у березинских уверенность, будто киргизы подкуплены соседями. Скорее всего так оно и было; правду знал один Иван Алексеевич, однако из благих побуждений никому ее не открыл. Наоборот, уверял мужиков, что киргизы зашли в эти края случайно, посулил дать коней, кто остался безлошадным, но его уже не слушали, охваченные жаждой мести.

И пролилась первая кровь.

Случилось это в 1861 году, в том самом году, когда отменили крепостное право, а березинские крестьяне уже десяток лет жили вольными в Сибири.

Две стенки сшиблись недалеко от Свободного, на берегу страшного и глубокого оврага, который потом стал называться Кровавым и где в память по убитым и искалеченным замиренные соседи поставили часовню. Старожилки готовились к драке заранее (что еще раз подтверждало предположения березинских), так что встретили соседей с дубьем и вилами. Березинские же валили в Свободное толпой и, столкнувшись с супостатами у оврага, вооружались на ходу чем ни попадя. Урядник, пытавшийся остановить побоище, был сброшен с кручи и со сломанной ногой едва выполз на вторые сутки. Иван Алексеевич около часа сдерживал своих мужиков возле околицы Березина, заклинал опомниться и остановиться, но образумить гневных людей так и не смог. Хуже того, вдруг услышал чей-то страстный, звенящий голос из толпы: «Барин! Не становись поперек! Уйди с дороги!» И гул возмущенных криков вторил ему, расплываясь над головами, словно круги по воде. Но и после этого отставной майор не сдался: он послал гонца в Есаульск за подмогой (хотя плохо себе представлял, кто может прийти и как помочь в этом деле) и поехал верхом вслед за молчаливой и озлобленной толпой.

Схватка длилась не дольше сабельной атаки, всего минут десять. И победителей в этой стремительной потасовке не было.

Стороны сошлись, взлетело над головами дубье, замелькали кулаки, кистени, и вот уже кто-то заорал дурниной, напоровшись на медвежью рогатину, и этим словно добавил яростного азарта. Иван Алексеевич крутился на нервном, горячем жеребце и тоже что-то орал, словно проткнутый рогатиной, но его не замечали и не трогали – ни чужие, ни свои. Он был лишним и ясно чувствовал это. Барина уважали и слушались, пока был мир и покой.

Вдруг на какой-то миг люди остановились, озираясь и смахивая кровь с разбитых лиц, и будто лишь сейчас сообразили, что натворили, что сделали друг другу. Стены так же стихийно попятнулись в разные стороны, бросая колья и подхватывая раненых и убитых односельчан, с ужасом и без оглядки разбежались всяк к своему двору. Через несколько минут на берегу оврага остался один Иван Алексеевич. Жеребец, прижав уши и не слушаясь повода, храпел и метался по сторонам, чуть ли не роняя седока: всюду земля пахла свежей, горячей кровью...

Несколько месяцев после этих событий Иван Алексеевич ходил сам не свой. Он пытался выяснить у мужиков: как же возможно такое среди своих, православных? Однако вразумительного ответа так и не получил. Тогда Иван Алексеевич решил спросить совета у декабриста. За месяц было отправлено два письма – и тоже безрезультатно. Он успокаивал себя тем, что Гавриил Степанович уже стар и что, верно, устал от бурной своей жизни и ему трудно писать и особенно отвечать на тяжелые вопросы. Иначе бы наверняка откликнулся. Ведь вон как заинтересовался он прожектом и судьбой отставного майора, когда тот приехал в Сибирь. Связывало их еще и то, что оба сидели в Алексеевском равелине, причем чуть ли не в одной камере, оба потом оказались в далекой Сибири, хотя и по причинам весьма разным. И оба, наконец, хлопотали о благоденствии для своего народа.

Гавриил Степанович поддерживал замыслы «первого русского фермера», хотя взгляды их не сходились и декабрист выражал сомнения, что русское крестьянство может привыкнуть к обособленной хуторской жизни. На Руси, говорил он, принято жить и умирать на миру, а в одиночестве русский человек либо погибает, либо, ударившись в философию и созерцание, навсегда уходит из мирской жизни. Батеньков-то знал, что такое быть вне общества, просидев двадцать лет в одиночке и чуть не разучившись говорить. Однако он горячо одобрял намерения Ивана Алексеевича вернуть для своей колонии в Сибири кое-что из допетровского уклада жизни, в частности – вече, бытовую культуру отношений, традиционную архитектуру жилищ. Гавриил Степанович сам вы–звался сделать проект дома «русского фермера» и велел поставить его на самой высокой точке местности, дабы таким образом привить любовь к красоте не только своим крестьянам, но и старожилам и всем проезжавшим мимо.

Предсказания Гавриила Степановича во многом сбылись, и фермеров американского типа из крепостных воронежских мужиков не получилось. Однако несколько хозяйств укрепилось и жило с хорошим достатком, а два березинских крестьянина сначала открыли лавки в Есаульске, затем начали строить доходные дома, торговать лесом и вышли, наконец, в состоятельные купцы. Один потом основал лесозавод, а другой, Белояров, и вовсе разбогател так, что стал совладельцем золотых приисков и пароходной компании на Енисее. Поощряя за предприимчивость и желая выставить их в хорошем свете перед остальными переселенцами, Иван Алексеевич публично просил у этих мужиков займы, хотя и нужды в том не было; часто зазывал к себе и при случае показывал совсем уже обветшавший прожект: вот, мол, зачем все затеяно-то было, так давайте же и других выводите к достатку, коли сами из нищеты выпутались. Но ощутившие вкус богатства и воли купцы в глаза что-то и сулили – взять кого-то в дело, похлопотать, облагодетельствовать, – а за глаза посмеивались над причудами старого барина, поругивали своих односельчан за лень и время от времени отбояривались от наиболее докучливых ведром водки.

Видя, что дело идет прахом, Иван Алексеевич перестал возиться с мужиками и возложил свою последнюю надежду на сыновей. Из России он привез первенца – Александра, а уже здесь, в Сибири, произвел на свет еще пятерых, мечтая со временем превратить их в обещанных царю фермеров. Он уже представлял, как на сибирских холмах поднимутся новые дома, поставленные по бережно хранящемуся проекту, как побегут от них на все четыре стороны наезженные дороги, и освобожденное крестьянство тогда, может быть, потянется со всей России в самые глухие углы этой большой и вольной земли. Иван Алексеевич стал приглядывать место под будущую усадьбу для второго сына – Петра, и уж было невесту ему присмотрел в есаульском купеческом доме, как сын вдруг взбунтовался, заявив, что желает учиться в духовной академии и что никогда не верил и не верит, будто устремлениями отца можно что-то изменить на этом свете. Иван Алексеевич вначале оторопел, а потом сказал как отрезал: не пушу! Младшие сыновья смотрели на это и помалкивали, каждый мотая себе на ус. Не долго раздумывая, Петр вопреки воле отца принял постриг, надел рясу и уже через год отправился в Московскую академию, только уже под именем Даниила.

И снова некоторое время Иван Алексеевич ходил оглушенным, как после побоища на Кровавом овраге, пока не смирился и не взялся за третьего по счету сына – Михаила. Тот казался Ивану Алексеевичу покладистым и спокойным, однако, когда речь зашла о деньгах на строительство новой усадьбы, Михаил потребовал отдать ему долю наследства, причитающуюся Петру. А на эту долю уже претендовал старший – Александр, намереваясь купить племенных маток донской породы. Короче, возник спор, и поскольку никто не хотел уступать, Иван Алексеевич наложил вето на долю Петра-Даниила.

Обиженный Михаил бросил все и уехал в Омск, где поступил в военное училище. А спустя два года, когда четвертый сын – Алексей, закончив гимназию и для порядка испросив позволение отца, нанялся простым матросом на торговый корабль, Иван Алексеевич уже более не мечтал и не уговаривал сыновей строить новые фермы. Хоть бы дома остались, утешался он надеждой, всем бы и места хватило, и занятий нашлось.

Пятый сын, Всеволод, с младенчества ласковый, как котенок, и потому избалованный, вовсе не хотел покидать отцовского дома и едва закончил шестой класс гимназии. Иван Алексеевич не стал настаивать на дальнейшей учебе, видя, как сын тянется к лошадям. Отец приставил его к конному заводу и наконец вздохнул облегченно: Александр со Всеволодом взялись за дело расторопно и круто. А на подходе был уже последыш – Николай, в восемнадцать лет заговоривший о женитьбе. В другое время старый барин о таком и слушать бы не пожелал. И не только потому, что рановато, – смущал выбор Николая: дочка бывшего крепостного Прошки Греха, лентяя несусветного, когда-то самовольно приставшего к обозу, – из тех мужиков, что провожали барина с воронежских земель в далекий и неведомый путь. Прошка и в Сибири сапог никогда не носил, и от перемены места жительства работающим не стал, а больше отирался возле барской усадьбы, спасаясь дармовщиной или поденщиной. И многочисленных своих дочерей присылал то полы мыть, то на кухню или постирать. Здесь Николай и нашел себе невесту Любушку – тихую и славную девушку. Но яблоко-то от яблони недалеко падает, размышлял старый барин, уж больно род худой... В другой раз Иван Алексеевич показал бы жениху, где раки зимуют, однако сейчас терпел, лишнего слова поперек сказать боялся: ну, как и Николай взлягнет и, задрав хвост, умчится бог весть куда из-под отеческого крова? Ладно, пусть хоть черта лысого берет, лишь бы дома остался. И так уж трое мыкаются по свету...

Став полновластным хозяином в имении, Александр сразу же после кончины отца взялся перестраивать интерьер дома. Он снес несколько перегородок и сделал большую гостиную на современный манер, с камином, увитым виноградными лозами и увенчанным гипсовыми ангелами. Выбросил лавки, дубовые «боярские» столы, старомодные горки, заменив их стульями с бархатной обшивкой, ампирными креслами и тяжелыми, на львиных лапах, круглыми столами; заодно сломал две голландские печи, которые теперь выглядели по сравнению с камином нелепыми кирпичными столбами. В первую же зиму все домашние жестоко страдали от холода и чуть не сгорели однажды, когда от перекаленной печки-временки вспыхнули шторы на дверях. Наверное, от холода же Александр, вдруг бросив перестройку дома, запил на пару с Прошкой Грехом, так неожиданно породнившимся с барином. С раннего утра они уединились на конюшне, гоняли конюха за четвертью в свободненскую лавку и потом, сидя лоб в лоб, говорили и наговориться не могли, словно истосковавшиеся от долгой разлуки родичи. Сначала Прошка все сватал одну из своих дочерей за холостого Александра, но тот не хотел жениться ни трезвым, ни пьяным. Тогда Прошка оставил уговоры и стал просто пить с барином и учить его жизни. Александр в таких загулах чаще всего становился жалостливым, случалось, и слезы текли по небритым щекам; Прокопий же Грех всегда говорил страстно, возмущенно и рубил воздух покалеченной на Кровавом овраге рукой. Александра пробовал увещевать Всеволод, потом Николай оттягивал брата от своего тестя и четверти с водкой, однако старший Березин, работавший всю жизнь при Иване Алексеевиче и не бравший вина в рот, тут же начинал кура-

житься, буянить и угрожать, что бросит хозяйство и уйдет куда глаза глядят. Оставайся, лавка с товаром!

Напившись, они иногда закладывали пару в санки, картинно, с поклонами и слезами, прощались с домашними, затем валились в медвежью полсть и мчались в сторону Есаульска или просто гоняли по улицам, чуть не сминая зазевавшихся прохожих. В народе уже поговаривали, что новый барин либо с ума сходит, либо чей-то злой глаз навел на него порчу. Ведь не молодой уже, чтоб эдак куражиться. И все дружно кляли Прошку Греха, этого змея подколенного, через дочь свою вползшего в барскую пазуху.

Однажды глубокой ночью кони притащили их едва живых. Барина и Греха били где-то так, чтобы не убить, но чтобы и жильцы из них были никудышные: по-сибирски их посадили задницей об дорогу. Так обычно расправлялись с конокрадами. Полумертвых и невменяемых, их даже не ограбили, положили в кошеву, привязали вожжи к облучку, чтобы не затянуло под полозья, и так отправили. Сомнений в Березине не было, кто мог сотворить такое, и поэтому наутро мужики с вилами и рогатинами уже колготились возле барской усадьбы, а по избам выли бабы. Молодой урядник, гарцуя на лошади, потрясал револьвером и грозил каторгой, если кто посмеет устроить самосуд. Березинские не пугались ни револьвера, ни каторги. Они ждали лишь благословения полуживого барина, чтобы двинуться в сторону Кровавого оврага, – горели распаленные яростью глаза, хрипли от крика глотки, и холодящее предчувствие драки, смешанное со страхом и злобой, реяло над горячими головами. Но когда Александра Ивановича вынесли на одеяле на красное крыльцо, он смог сказать всего два слова: не ходите.

Барин проболел четыре месяца, а когда поднялся на ноги, то управлять большим хозяйством уже был не в состоянии. Передвигался с палочкой, часто отдыхал, заходясь от кашля, и на глазах превращался в глубокого старика. Имение теперь полностью осталось на руках тоже холостого еще Всеволода и семейного, но молодого по годам последыша Николая. А возле них как ни в чем не бывало вертелся Прошка Грех, оправившись уже на второй неделе после избияния, как привыкший к дракам старый кот. Всеволод и духа его не переносил, прогоняя то с конюшни, то со двора, но Николай по мягкости души терпел тестя, и чтобы лишний раз не огорчать жену – женщину умную и страдающую от вины своего отца перед старшим деверем, – просил брата, чтобы и он не трогал и терпел Греха. Пусть немного забудется все, зачем беречь еще свежую рану? Всеволод каждый раз обещал, поскольку Николай был любимчиком в семье, да и Любашу жалел, но стоило ему увидеть иссохшего, невесомого Александра с бузиновым пустотельным костыликом или самого Прошку, покрикивающего на конюха и пастухов, как он, всегда ласковый и улыбчивый, сразу менялся в лице.

Летом, после сенокоса, Всеволод вроде бы собрался жениться на дочери директора гимназии и перед свадьбой взялся за новую перестройку дома. Нанятые в городе мастера за месяц оштукатурили тесаные стены, оклеили обоями, вывели лепные карнизы под потолком, настелили паркет в гостиной и сделали прямоугольными все сводчатые дверные проемы. Но увлеченный переменами новый хозяин на этом не успокоился. Уже с помощью своих березинских мужиков-плотников он задумал осовременить терем и снаружи. Еще за один месяц он перекрыл крышу, заменив осиновый «лемех» на листовое железо, остеклил галереи и гульбища, превратив их в светлые веранды, неуклюже выделяющиеся теперь своей квадратностью на фоне стрельчатых окон, затем покрасил деревянную резьбу. И вроде бы поехал свататься. Но по каким-то причинам сватовство не состоялось, и Всеволод, возвращаясь в Березино, внезапно обнаружил, что дом после всех перестроек абсолютно не изменился и как был допотопной стариной, так и остался.

Всеволод махнул рукой – на носу была жатва, а потом ярмарка и долгая зима.

Той самой зимой и явился в Березино матрос торгового судна Алексей, объехавший весь белый свет и чуть было не исчезнувший навсегда где-то в дальних странах. Приехал он с саквояжем, с таким же, с каким уезжал; весь какой-то потрепанный, изъязвленный оспой и обка-

таннный, как морской гольш. Все его словечки и целые фразы были так же обкатаны и бренчали звонко, словно галька в кулаке. Ничего за душой у него не было, если не считать кокосового ореха с молоком и сушеной морской звезды, которую он тут же подарил жене брата Любушке.

Алексей сразу заявил, что будет жить до конца своих дней в родном гнезде и заниматься делом отца – созданием фермерского хозяйства по американскому образцу, так как был в Америке, все видел и знает, с чего начать. Нынешняя ферма, сказал он, похожа разве что на утлое хозяйство какого-нибудь неудачника из африканской банановой колонии и что Всеволод совершенно ничего не понимает в экономике.

Всеволод обиделся и несколько дней не разговаривал с братом, и даже Прошку Греха перестал замечать. Он вдруг снова стал печальным и ласковым, играл с племянниками – Андреем и Сашей, тихо, с любовью, беседовал с Александром, теперь уже сидящим в кресле-каталке (отказали ноги). Свалив с себя хлопотное хозяйство, он словно ожил и, во второй раз отправившись в Есаульск, высватал-таки дочку директора гимназии. Скоро Березины отыграли широкую свадьбу. На третий день после нее Всеволод сообщил, что берет свою долю наследства и с молодой женой уезжает за границу, а как надолго, и сказать не может; и что, боже упаси, он ни на кого не держит зла, даже на Прошку Греха, и едет с чистой душой и спокойным сердцем. Потом он расплакался, стал всех обнимать и, окончательно расстроившись, твердил, что любит всех и будет любить всю жизнь.

В Березине с тех пор стал хозяйничать новый барин – Алексей Иванович. Ему нравилось созвучие своего имени с именем старого Березина, а еще то, что имена их как бы развернуты и это значит, что отныне и в жизни будет наоборот. У покойного батюшки не получилось с фермерскими хозяйствами только потому, считал Алексей, что тот заимствовал у американцев лишь их экономический опыт, сама же жизнь, начиная от домашнего быта и кончая образом мышления, оставалась глубоко закоренелой русской жизнью. А следует перенимать все без исключения, иначе не достичь крестьянину ни личного достатка, ни всеобщего благоденствия в России.

Для начала новый барин выписал из магазина американской компании кожаные штаны на широких ремнях, мягкие сапоги и широкополые шляпы, передел конюха, пастухов, Прошку Греха и переделал сам. Затем купил револьвер, легкое седло и всюду разъезжал стремительным галопом, словно везде опаздывал. С Прошкой они мгновенно сдружились, ходили чуть ли не в обнимку, причем Алексей любил крепко и неожиданно хлопать его по плечу – старый и хилый Прошка страдал от этого, но терпел. Через пару недель новый хозяин принялся за дела. Он погрузил в санки бочонок водки, посадил на козлы Прошку Греха и наметом поскакал в Свободное, куда березинские захаживали редко, и лишь те, кто имел там родню. Больше суток его не было, но доходили слухи, что новый барин гуляет по Свободному, переходя из дома в дом, и будто все ему там рады. Невероятным слухам никто не поверил, но на третий день за околицей Березина появилась большая гомонящая толпа. Извещенные ребятишками мужики спешно хватали вилы и колья – нового барина среди свободненских не было видно! Значит, кончили, супостаты, развеселого ряженого Алексея Ивановича! Бывшие березинские крепостные уже привыкли к частой смене хозяев имения и заранее любили и готовы были жизнь положить за каждого, лишь бы из породы Ивана Алексеевича был. Мужики устремились навстречу давним врагам, чтобы дать отпор и не пустить в деревню, но из толпы свободненских вдруг вышел неузнаваемый, обряженный в подштанники, пимы и драный полушубок Алексей Иванович и, паля из револьвера в воздух, велел немедленно бросать колья, чтобы раз и навсегда замириться со старожилками. Оказывается, всю свою диковинную кожаную амуницию он раздал, гуляя у соседей, и даже коня отдал вместе с уздечкой.

Алексей же Иванович решил закрепить успех в перемирии и стал зазывать в дом уважаемых мужиков из старожилков, устраивал гулянки с гитарами и песнями чуть ли не до утра. От плясок жилище гудело и сотрясалось. Домашние терпели неделю, другую, наконец Алек-

сандр не выдержал и повелел прекратить ночные кутежи, а не то от такого замирения придется брать стяжок и очищать терем. Алексей не обиделся: он вообще никогда и ни на кого не обижался. Засучив рукава, он с американской практичностью начал освобождать заваленный рухлядью подклет. Потом нанятые работники прорубили окна, сделали столы, стулья – все из грубых плах, – и получилось нечто среднее между портовой таверной и русским кабаком. Домашние только рукой махали: пускай! Лишь бы пьяные мужики не шарахались по дому и не пугали детей. Гости в подклете не переводились теперь. Наезжали купцы, заводчики, приискатели, а то и вовсе какие-то странные люди, хорошо одетые, но худые и голодные. Тут же заключали сделки, ударяли по рукам, вели какие-то расчеты, с легкостью оперируя суммами в сотни тысяч. Березинские и свободненские крестьяне, завсегдатаи подклета, лишь диву давались и помалкивали, мотая на ус. По их разумению, выходило, что все американские фермеры только и делают, что гуляют напропалую всю жизнь, а деньги сами плывут к ним в руки. Да вот закавыка: когда пашут-то? Когда сено косят и скот пасут? И кто всю работу делает, если они из кабаков не вылазят? Может, негры? Так в Сибири откуда негров взять? Все самим надо, своим горбом...

Короче, гулянка гулянкой, а дело не ждет. Мужики – джоны, биллы и смиты – разошлись по хозяйствам, наслушавшись о райской американской жизни, взялись пахать и сеять. В подклете оставались теперь два постоянных гостя: высланный анархист, проживавший в Свободном и носивший трудную для языка фамилию – Пергаменчиков, да прибывший к Березину, тоже сосланный в прошлом, поляк по прозвищу Пан Сучинский. Первый не пил вообще и склонен был лишь к тихим разговорам о революции, о власти, о грядущих переменах в российской жизни и прочих крамольных делах; второй был уже в годах, но пил столь много, что спал сутками, и ко всему прочему был слепой. Алексей скоро заскучал от такого общества и сам поехал в Свободное – гостить.

Николай не дождался, когда брат-хозяин вспомнит о полях, стал было нанимать работников, однако Алексей, вернувшись, распорядился по-своему. Хлеб, сказал он, сеять в Сибири невыгодно, и лучше всего земли пустить под пастбища и вдвое увеличить табун лошадей. И косить десятки тысяч пудов сена – тоже ни к чему. В Америке вон совсем не косят, табуны на подножном корму круглый год. Вот и они теперь переведут коней на самообеспечение и кормить будут лишь в сильные морозы. Конюшен тоже не нужно; если лошадей держать на холоде, то они становятся выносливыми и у них шерсть длинная вырастает. А обучать молодых под седло и в упряжку – вообще российская дикость! В Америке давно уже так не делают. Надо коня – покупай его диким зверем, так сказать, неиспорченным товаром, натуральным продуктом природы.

У Николая Ивановича голова пошла кругом, руки опустились. Брат же, освобожденный от летних трудов, задумал перестроить дом по-своему. Он решил снести красное крыльцо и взамен соорудить парадное с высокими белыми колоннами. И чтобы ступени сбегали вниз до самого подножья холма. Нанял мужиков, и работа закипела. До осенней ярмарки успели только сломать старое и привезти из карьера белый камень. Второй раз оказавшись в роли подручного, Николай глядел на то, что вытворял брат, и порой не выдерживал. Он пытался вразумить его, мол, люди уже смеются, в глаза стыдно смотреть, как хозяйство запустили, но Алексей не обижался и на это. Отчаявшись, Николай Иванович тоже махнул рукой и, вместо забот на лугу, брал своих сыновей и поднимался на уцелевшую смотровую башню.

Оттуда было далеко видно. За воротами, выходящими на запад, кипела неторопливая жизнь в Березине, на востоке – в Свободном, а дальше зеленели поля, луга, выпасы с табунами коней, потом стеной начиналась бесконечная голубоватая тайга.

И умиротворялась душа...

Осенью Алексей погнал лошадей на ярмарку, но не в Есаульск, как обычно, а куда-то на восток. Из Иркутска пришло письмо, где он просил брата встретить и устроить в доме мастера,

который подрядился отливать львов с шарами для парадного и садовые вазоны. О себе сообщал, что выгодно торгует лошадьми и будет к Рождеству.

Но время шло, а ни мастера, ни самого Алексея все не было. После Рождества вернулись табунщики, гонявшие лошадей. Они сказали, что барин остался еще на недельку, чтобы закончить дела, и скоро нагрянет. Николай ждал его месяц, другой, однако брат пропал бесследно – как и тогда, после гимназии. Пришлось даже заявить об этом в полицию, чтобы начать розыск.

А весной, после ледохода, сначала явился мастер, потом нагрянула толпа поющих цыган. Избавиться от пришельцев оказалось непросто: все они получили крупный задаток от барина Алексея Ивановича (правда, еще до Рождества) и теперь взялись его отрабатывать. Уговоры и угрозы не действовали; мастер, расположившись во дворе, отливал свирепых львов с каменными шарами под лапой, выставлял их вдоль заплота, а цыгане пели и веселились в пустом подклете, убажывая Прошку Греха, ссыльнопоселенца Пергаменщикова и слепого поляка Пана Сучинского. Сколько бы еще продолжался этот содом, никто не знал, если бы в самый его разгар не скончался старший брат Александр. Просидев ночь возле покойного под лихие цыганские песни, доносившиеся снизу, Николай утром взял на кухне топор для разделки мяса и разогнал всех, заперев на замок ворота.

После похорон Николай Иванович несколько дней ходил, как погорелец, вокруг полуразоренного, но все же устоявшего во всех перестройках дома. Затем с великим душевным напряжением начал восстанавливать красное крыльцо...

Все дальше и дальше уходил в поля длинный обоз покосников. Андрей соскочил с телеги и пошел рядом. Одурающе пахло травой...

3. В ГОД 1918...

Тихо было на земле.

Красные сумерки заволокли небо, окутали степь, и ничего больше не оставалось в мире, кроме этой огненной красноты, горячей, но не сжигающей, будто растопленный воск.

Андрей понял, что лежит вверх лицом, запрокинув голову; под раскинутыми руками ощущалась земля. Он сделал попытку встать, однако тело не слушалось, словно придавленное тяжким невидимым грузом. Дотянувшись рукой до пламенеющего лица, он потрогал глаза: пальцы нащупали горячий кровавый сгусток. Возникло ощущение, будто голова разрублена пополам. Правая половина ее онемела, зато левая горела и в ней стучала тупая боль...

Он дернулся еще раз, намереваясь освободиться от давящей тяжести на груди, уперся руками в землю, напрягся – и сквозь красное небо перед глазами вспыхнул белый зигзаг молнии.

И тут же вспомнил, где он и что с ним произошло. Его же ударило грозой! Теперь он лежит, прикопанный землей – так полагается, – и если чувствует руки, тело, боль, значит, ожил. Надо полежать еще, пусть уйдет в землю небесное электричество и придет от нее сила. Тогда его откопают, дадут воды и умоют лицо... Только почему красно кругом? Ослепило? Или выжгло глаза?.. И откуда кровь?

Андрей расслабился, стараясь вспомнить все, что было до стремительного росчерка молнии, летящего в лицо. Да! Ведь он подумал тогда, что не успел начертать на земле бережный круг, который должен спасти от нечистой силы... Но от грозы он бы не спас... От чего же тогда он хотел оборониться?

Вдруг послышался голос – одинокий, пронзительный и тоск-ливый. Он возник рядом, в изголовье, но сквозь сумерки поющего не было видно.

А брат сестру да обидел в пиру,
А брат сестру обидел в пиру...

И голос этот словно вернул Андрею память. Он ясно и четко увидел в мыслях все случившееся до того мига, как с вершины грозовой тучи сорвался белый зигзаг и полетел к земле...

Уже в ночной темноте полк вышел наконец к реке Белой и укрылся в небольшом леске на береговом уступе. Но и здесь все было раскалено жгучим дневным зноем; над головами обманчиво шумели кроны угнетенных сосен, чахлые березки совсем не давали тени, чтобы прикрыть землю от солнца. В самую полночь над рекой начала подниматься грозовая туча. Ее рванный край быстро заслонял светлый горизонт, гигантская тень побежала по степи, и вместе с нею холодный шквал ветра окатил измученных жарой красноармейцев. Они вскидывали головы, обратив лица к наползающей черноте, кричали что-то радостное – стон облегчения слился с гулом деревьев. Потом люди повалились на траву и, раскинув руки, мгновенно заснули, как наигравшиеся дети. Скоро на всем береговом уступе были видны лишь голые спины, вздымающиеся от тяжелого дыхания.

Глядя на вершину тучи, Андрей ощутил легкий знобящий страх: в природе творилось нечто редкое, невиданное и одновременно чем-то знакомое – словно забытый мимолетный сон. Однако мрак накрыл берег реки, и все – крохотный лесистый уступ, белая вода под кручей, – все растворилось в черноте. Хотелось выбраться из нее, вынырнуть, как из темного омута, чтобы перевести дух. Андрей побежал вверх по откосу, запинаясь о брошенные на землю винтовки и раскинутые ноги бойцов.

Он уже был высоко, когда вдруг показалось, что за спиной, среди деревьев, засветился голубоватый мерцающий огонек, неподвижный на сильном ветру. А был строгий приказ – не разводить огня...

Андрей обернулся назад, сморгнул видение и отер ладонью лицо. Рядом с первым возник второй огонек, и от него потянулся к кронам деревьев ровный столб голубого сияния; засветились синеватым воронением штыки в пирамиде.

Не разбирая дороги, Андрей кинулся вниз, и пока бежал, среди леса в разных местах вспыхнуло еще несколько потоков света, а за рекой глухо пророкотал гром. В отблесках чудесного огня воздух светился, искрились стволы деревьев, а обнаженные спины, плечи и руки утомленных людей казались неимоверно огромными, мощными – богатыри спали на земле. А между ними, в головах и ногах, из-под рук и драных ботинок один за одним вырывались все новые и новые столбы света. Чья-то белая от соли гимнастерка светилась, будто наброшенная на лампу. За рекой теперь уже громыхало беспрерывно, однако голубое сияние от земли скрадывало блеск молний.

Андрей потянулся руками к неведомому огню, словно хотел поймать его, как ловят выпавших из гнезда птенцов. Свет пробивался между пальцев, охлаждал их, а ладони просвечивались насквозь: под кожей видна была пульсирующая кровь.

Потом он разжал руки и увидел скомканные листья папоротника. Свечение исходило от них...

И сразу вспомнилось – купальская ночь! Та самая, когда расцветает папоротник. И коли выпало человеку увидеть это – он счастливейший из живущих. Надо только успеть нарвать цветов, спрятать их и всегда носить с собой – тогда станешь ясновидящим. Тебе покорится и прошлое, и будущее...

Он сорвал несколько огоньков и, спохватившись, закричал:

– Вставайте! Вставайте!

Люди не двигались, и даже гром не мог разбудить их. Успокоенные прохладой, бойцы дышали теперь ровно и почти беззвучно. Все триста пятьдесят «штыков» спали мертвым сном: умиление и благодать светились на пыльных лицах. Андрей принялся рвать цветы вместе с листьями, и сразу стали гаснуть сияющие столбы света. Он откидывал чьи-то руки, сдвигал ноги и головы, выхватывая из-под них светящиеся колокольцы. Но папоротник отцветал стремительно, и пальцы все чаще хватали темноту и черную траву.

И тут он увидел крутой росчерк молнии...

Андрей вновь услышал пронзительный и тоскливый голос. Будто даже ветром опахнуло – так близко прошел поющий.

Ушла сестра да заплакала,
Ушла сестра, заплакала...

Пора, пора вставать! Почему его не откапывают? Сколько же земли навалили на грудь! Он попробовал отгрести ее хотя бы от подбородка – мешала дышать, – однако ощутил под руками упругое чужое тело. Кто-то осклизлый и тяжелый лежал поперек его груди...

Он подтянул ноги – они оказались свободными – и с трудом повернулся на бок; затем опрокинулся на живот, высвобождаясь из-под неподвижного гнета. Отполз в сторону. Красно-черное марево качнулось перед глазами. Он нащупал опаленные брови, разодрал пальцами веки. Зыбкие огненные сумерки не исчезли. Тогда он пополз на голос поющего.

Не дошла сестра до конца села,
Кричит братец – вернись, сестра!..

Потом донесся стук множества копыт, словно на него шла конница. Разом всхлопнули крепкие птичьи крылья, и вороний грай ударил в уши. Андрей закричал, чуть приподнялся, взмахнул рукой. Однако лошади промчались мимо.

Он встал на колени. Жгучая боль охватила помертвевшую половину лица, и с нею же будто просветлел мозг. Воронье умолкло, наверное, расселось на земле...

Нет, нет, не грозой его ударило на сей раз! Чем же тогда?!

И вдруг все отчетливо вспомнилось: от момента, как схлестнулись в штыковой две цепи, и до той минуты, когда он побежал к взятой в кольцо коннице противника.

Первая мысль была невыносимо обидной: прорвались, а раненых оставили умирать под солнцем. Торопились скорее уйти за железную дорогу – поджимали казаки из степи. И все равно слишком жестоко, ибо в любой ситуации вынести раненого – святой долг на войне. Убитых и тех вытаскивают под обстрелом и потом хоронят, не отдавая на съеденье зверью и птицам, во власть тлену...

А тут – раненого бросили. Да что же это за война такая? Он пополз на коленях в другую сторону, продираясь сквозь нетоптаную траву, и наткнулся на чьи-то разбросанные ноги в обмотках, сползших к самым ботинкам. Птицы снова захлопали крыльями, и в тот же миг Андрей услышал крутой, забористый мат. Человек ругался совсем рядом, и, видимо, это он спугнул стаю воронья.

Андрей закричал и хотел подняться на ноги, однако что-то упругое и жесткое задело по лицу, опавнув горячим воздухом.

«Ворон, – мгновением позже подумал он. – И вороны ослепли...»

– Еще один! – послышался рядом радостный возглас.

Чьи-то сильные руки взяли его под мышки; Андрей ощутил чужое дыхание.

– Глаза... – проговорил он. – Не вижу.

– Глаза вроде целые, – сказал человек. – Лоб и щеку расхватило.

– Ты кто? – спросил Андрей.

– Ковшов я, из второй роты был, – ворчливо проговорил человек. – Погоди, сейчас промоем глаза-то и рану завяжем. Я тут бурдюк с водой нашел. Полный! Ведра на полтора будет... Ты ляг. – Он помог ему лечь. – Веришь, мужика пополам развалили, а бурдюк целехонек.

Большая жесткая рука стала мыть лицо; нестерпимо холодная вода текла упругой струей. Пальцы выцарапывали из глаз засохшую кровь, трогали рану. Вода попадала в рот и нос, Андрей за-хлебывался, глотая ее.

– Во, отмоем, и прозреешь, – приговаривал Ковшов. – Целы вроде... А кость задело, шмат кожи снесло, болтается... Я его отрежу, все одно не прирастет.

– Надо идти! – спохватился Андрей. – Казаки!

– Завяжем рану да пойдем, – балагурил Ковшов. – Ну-ка моргай, ну? Я лить буду – ты моргай.

Березин пытался сморгнуть красноту, но мысль о казаках отвлекала внимание. Сколько он пролежал? Час? Два? Если больше, казаки уже где-то близко...

Андрей оттолкнул руки Ковшова и сел:

– Надо собирать людей, Ковшов. Где полк?

– Дак попробуй собери, – хмыкнул тот. – Разлегся весь полк... Воронье вон уже глаза повыпило...

– Что-о?!

– Ты лежи, лежи. – Он придавил Андрея к земле. – Я рану завяжу, а то кровяшка... Там комиссар еще лежит, вроде отходит – не поймешь. И еще один из третьей роты...

– Где люди? Ушли?!

– Никто не ушел. – Ковшов заматывал ему лицо. – Говорю, все тут... И наши, и не наши. Лежат вон... Чехи хотели уйти, да я их из пулемета пощипал. Человек пять токо и убежало... А из белых один остался. Во-он ходит, поет, слышь?.. Умом тронулся.

Смысл слов доходил трудно, мешали руки Ковшова, мешал бинт, стискивающий огненное лицо...

Андрей оттолкнул Ковшова с пути и пошел, волоча ноги. Через несколько шагов запнулся о мертвого, упал и в другой раз встать не смог, пополз.

– Куда? – закричал Ковшов. – Нам в другую сторону!

«Положил? Всех положил?! – лихорадочно и со страхом думал Андрей. – Всех положил...»

Ковшов догнал его и помог подняться. Держась за высокую траву, Андрей вновь попробовал сморгнуть красное марево – бесполезно. Сумасшедший ходил где-то рядом и в который раз уже пел одну и ту же никогда не слыханную песню:

У меня в доме да сподиялося,
Вороной конь да на ноги пал,
Молода жона да с ума сошла,
Малы детушки да на куть легли...

– Может, стукнуть его? – посоветовался Ковшов. – Чтоб не маялся?

Бинт стянул челюсть – говорить стало совсем трудно, и Андрей лишь цедил слова сквозь стиснутые зубы. Он пошел в ту сторону, куда стоял лицом. Шарил руками пространство, передвигал тяжелые ноги. Через несколько шагов снова наткнулся на человека, склонившись, на ощупь отыскал лицо. И не видя его, узнал мертвого, как узнают слепые. Он не помнил фамилии убитого, не знал имени, однако сразу представил его живым: кажется, был он из студентов и его просили читать вслух, еще там, в Уфе, когда формировался полк. Он читал, красноармейцы слушали и глядели на него с уважением, даже чуть робели. Но в казарме над парнем посмеивались, воровали у него ботинки, ремень, затвор из винтовки и дразнили потом, что не отдадут; он верил и, как мальчишка, гонялся за обидчиками. Игра нравилась бойцам так же, как и его чтение...

Потом Андрей наткнулся на комроты Шершнева, узнал маленького красноармейца, который все время нес носилки с раненым. А рябой, тот, что хотел отобрать бурдюк с водой у ополченца, лежал в обнимку с кем-то незнакомым, в погонах, намертво сцепив руки на горле...

И ползая так между убитыми, в застывшей и не ушедшей в сухую землю крови, Андрей понял, что плачет. Соленые слезы впитывались в бинт и разъедали рану; онемевшая половина лица приобретала чувствительность. Он полз наугад, но везде натькался на мертвых, лежащих вперемешку; один – знакомый, другой – с погонами, чужой; словно кто-то умышленно разложил их так на его пути.

Он плакал, и вершилось чудо. Красные сумерки отступали, и над землей занималось серенькое утро. Отмытые слезами глаза просветлели... прозрели...

Он приполз к красноармейцу, который угрожал выстрелить ему в спину. Но и прозревший, долго не мог узнать его: он? не он? Все было то: рваная гимнастерка, коротко стриженные и совершенно белые волосы, оттопыренные уши, и все-таки что-то в нем изменилось. И наконец понял – глаза! Они стали голубыми и чистыми, поскольку в них отражалось небо...

Непослушными пальцами Андрей закрыл ему глаза, но они снова открылись, а пятак, чтобы придавить веки, не было.

«Значит, не смерть мне, – думал он, глядя в его лицо. – Смерть моя – вот она, сама мертвая...»

Он встал на ноги, и сразу же открылась взору незнакомая горячая степь. С высоты человеческого роста уже было не рассмотреть, кто и что лежит на земле, – белесые и зыбкие травы прятали все следы недавнего боя...

Шиловского проткнули штыком насквозь, ниже плеча, однако был он еще в сознании. Запавшие черные глаза его переполняла тоска, и казалось, будто смотрел он на мир со dna глубокого колодца. Под разорванным френчем краснела напитанная кровью повязка: комиссар облизывал сухие губы, дышал отрывисто и часто. Он ничего не говорил, не отвечал на вопросы и не выпускал из руки маузера. Шиловский долго смотрел Андрею в лицо, затем повел маузером в его сторону, сказал сухо, коротко:

– Бросите – расстреляю!

Идти он не мог, нести было некому, поэтому Ковшов побежал ловить лошадей, сбившихся в табун. Кони носились по степи, вспугивая воронье, ржали тревожно, отфыркивая запахи, и не могли успокоиться. Тоненько и болезненно им отзывались те, что лежали ранеными среди людей. Поймать коней было невозможно, они шарахались от живого человека, натываясь друг на друга, как, пожалуй, не шарахались бы от зверья.

Отчаявшись, Ковшов поймал и привел сошедшего с ума беляка. Тот ничего не соображал, однако слова понимал и был послушным. С помощью Ковшова он взвалил себе на плечи комиссара и, качаясь, поплелся в степь.

– Куд-да?! – заорал Ковшов. – К «чугунке»! Туда! – И, догнав, с треском оборвал с него погоны, развернул в обратную сторону.

Они успели пройти с полверсты, как на горизонте медленно стала появляться пыльная туча. Она всходила над окомом и отвесно тянулась в небо. Шли и гадали, надеясь все-таки, что это вихрь, привычный для степи. Но скоро последние надежды развеялись: казачьи сотни шли тремя потоками, и тянулись за ними три шлейфа серебристой пыли, сливаясь в один высоко в небе.

Уходили с оглядкой, бежали, как от грозы. Ковшов, придерживая раненого Андрея, поминутно оборачивался, и Андрей, заражаясь этим нервным движением, тоже пытался поворачивать голову, но Ковшов одергивал, и лицо его наливалось злостью.

И в этой злости Андрею показалось что-то знакомое. С той минуты, как вернулось зрение, он старался вспомнить, откуда ему знакомы эти большие руки, сожженная солнцем шея. И голос его вроде уже слышал сегодня...

Между тем пыльные тучи приближались, делались гуще, непрогляднее и теперь напоминали степной смерч. В очередной раз оглянувшись, Ковшов резко остановился, будто от выстрела, сбросил с плеча руку Андрея.

– Всё! Не уйти! Молись, кто верует.

Вдали, среди трав, объятых маревом, как огнем, показался казачий разъезд. Всадники на минуту придерживали коней, видно, осматривая степь в бинокль, затем наметом поскакали в ту сторону, куда уходили оставшиеся в живых. Ковшов рывком стащил винтовку со спины, передернул затвор.

– И-ых, сволота! – простонал он. – Мало я вашей кровушки пустил! Э-эх, мал-ла!..

И в тот же миг Андрей явственно вспомнил сегодняшнее утро, расстрел на берегу реки Белой. Обернулся к Ковшову. Узнал...

А беляк с комиссаром на спине уходил в степь, словно его уже не касалось то, что вершилось и еще свершится на земле.

Тем временем казачий разъезд вдруг остановился и спешился. Ковшов недоуменно таращил глаза, опустив винтовку.

– Они чего? – И вдруг засмеялся, оскаливая зубы, хлопнул себя по ляжке: – Убитых нашли! Слышь, ходу! Они ж трофей собирать станут!

Он подхватил Андрея и потащил так, что тот едва успевал переставлять вялые ноги. Повязка на лице сбилась и запечатала рот, дышать было трудно, темнело в глазах. Впереди, сажень за сто, мелькала в траве фигура согбенного сумасшедшего с Шиловским на спине. Андрей хотел было попросить остановиться и перевести дух, однако слова сквозь бинт не пробивались, а мычания Ковшов не слышал. Шанс на спасение устроил его силы, и Андрей сквозь френч и его гимнастерку чувствовал мощное движение закаменелых мышц, как чувствуешь круп коня в детстве, катаясь верхом без седла. И если в Ковшове бурлила, кипела жизнь и жажда выжить придавала ему животную силу, то Андрей, напротив, все больше слабел, и накачивало безразличие. Можно было остаться здесь, в траве, можно пройти еще версту или две, а то и вовсе пересечь железную дорогу – что изменится? Сестру уже не найти в такой неразберихе, где брат – тоже неизвестно... А ведь в их судьбе так или иначе виноват он, Андрей. И в гибели полка он тоже виноват... Хорошо, что завязан рот, – можно кричать, никто не услышит. Плохо, что прозрел. Не видеть бы, а еще лучше – ничего не слышать и не чувствовать...

Андрей поднял голову и машинально стал упираться ногами, вырывать свою руку из мертвой хватки Ковшова. Тот сначала рванул Андрея за руку, потом ударил локтем в живот. – Дернись еще, – прохрипел он. И вдруг остолбенел.

В десятке сажень стояло до полуэскадрона конных чехов, поджидали, весело переговаривались на своем языке. За ними виднелись пустые повозки.

А сумасшедший как ни в чем не бывало тащил свою ношу прямо к конским ногам, согнувшись в три погибели, и глядел в землю. Чех-кавалерист, выждав момент, тронул коня вперед и ловко схватил комиссара за руку, в которой торчал маузер. Вырвал его, осмотрел, пальнул в небо.

Не думал Андрей, что еще раз придется ему побывать на месте побоища в тот день.

Их с комиссаром положили в повозку, где уже были навалены трупы, туда же бросили связанного по рукам и ногам Ковшова, поговорили между собой и поехали. А там, где остался лежать полк Андрея, продолжали орудовать казаки. Они собирали винтовки, шашки, стаскивали сапоги, снимали ремни с подсумками, гимнастерки почище – не брезговали ничем, как рачительные, хозяйственные люди. Чехи же, не обращая внимания на казаков, бродили между убитыми и выискивали своих. Лишь однажды произошла стычка и яростный, разноязычный, но понятный всем разговор; а причиной ссоры было то, что казаки раздели двух убитых чехов.

Как в страшном, повторяющемся сне, Андрей через борт повозки вновь глядел в лица мертвых красноармейцев, и завязанный рот сводила судорога. Глядел и, как доживающий свой век старец, просящий прощения за все содеянное и несодеянное, мысленно повторял: простите, виновен, простите...

По дороге вдруг заговорил Шиловский. Неожиданно приподнявшись на локтях и перегнувшись через мертвяка, зашептал:

– Они не должны меня узнать... Слышите? Вы не имеете права выдать меня. Вы давали слово... О родственниках не забывайте...

Андрей медленно скосил глаза: Шиловский смотрел выжидательно, буравил черными зеницами, словно ружейными стволами.

– Фамилия – Акопян. Я бывший прапорщик, насильно мобилизованный, как и вы... Акопян, запомнили?.. Вы понимаете?..

Слушая его, Андрей вспомнил первую встречу с комиссаром. Тогда он безразлично отнесся к Шиловскому: положен комиссар в полку – пусть действует. И презрительность, с которой Шиловский разговаривал с ним, командиром, совершенно не волновала. Так и должно, наверное, быть, считал Андрей. Он, командир, – военспец, офицер, дворянин; комиссар же – революционер, большевик, пролетарий, раз на заводе работал. Хотя Шиловский Андрею больше напоминал аптекаря либо ювелира – одним словом, человека, привыкшего

иметь дело с точными весами, обученного колдовству и чародейству, человека, кому послушны вещи, которые трудно взять неопытной руке или узреть непривычному глазу. Однако со временем – а время на войне всегда относительно – у них возникли вполне терпимые отношения, бывало, даже беседовали, хотя Андрей не мог отделаться от чувства, словно его прощупывают осторожные и стремительные пальцы вора-карманника. И всякий раз от откровенных разговоров удерживала ненависть, неожиданно и в самых разных ситуациях разгоравшаяся в глазах Шиловского. Казалось, еще миг, и комиссар взорвется гневом и проклятиями. Андрей недоумевал, как в одном человеке могут уживаться интеллигентность и дикое невежество, чистые, если судить по речам его, помыслы и вот такое презрение и ненависть, унижающие человека. И за что? За то, что Андрей не был пролетарием и носил погоны? За то, что служит в Красной Армии не по своей воле? Или, может, за нерешительность, когда надо было пустить в расход дезертира и молодого прапорщика-пленного?

Сейчас можно было спросить Шиловского. И наверное, он бы ответил прямо: оба лежали среди мертвых в телеге, оба пленные и перед обоими была одна и та же неизвестность. Но беда – рот завязан и нет сил разорвать бинты на лице, разжать зубы.

Ковшов лежал в ногах поперек телеги, придавленный трупами; виднелись только его связанные руки, сжатые в огромные кулаки.

– В вашем положении тоже не рассчитывайте на пощаду, – продолжал шептать Шиловский. – Вам не простят... И разбираться не станут... Вы придумайте легенду. Чехи поверят.

Андрей молчал и даже радовался, что не может говорить. О чем? Какие легенды придумывать, если все прахом пошло?..

Их привели к штабному вагону и посадили в тень, рядом с часовым у тамбура. О пленных словно забыли, и они просидели часа три. Мимо как ни в чем не бывало разгуливали пьяные ватаги солдат-чехов, и Ковшов, поднявшись с земли, несколько раз пробовал пройтись вдоль вагона, заглядывал между колес, но часовой не дремал и грозил винтовкой. В горле у пленных спекалось от жажды, а мимо иногда проносили воду от водонапорной башни, откуда выглядывало хорошенькое девичье личико; воду пили тут же, умывались и даже обливались ею, щедро расплескивая по земле. Смотреть было невыносимо, но просить никто не хотел. Комиссар лишь стискивал зубы, а Ковшов, видно, борясь с искушением, сказал себе громко:

– Мне от этих паскуд и капли не надо. Вот кровушки бы ихней попил!

Пожалуй, каждый из них мысленно ждал допроса, и каждый готовился к нему, помня обычное для войны правило – допрашивать пленных. Однако известные законы, как давно уже понял Андрей, не годились для этой войны. Не спросив ни имен, ни званий и должностей, их запихнули в нагретый зноем вагон, где на соломе сидело и лежало человек тридцать, и затворили тяжелую, окованную дверь. Андрей успел заметить, что вагон стоит в тупике и под колеса подложены чугунные башмаки.

– Откуда, товарищи? – с тревогой спросили из дальнего угла, и, переступая через лежащих, к ним подобрался полуголый мужчина с забинтованным предплечьем.

– От тещи с именин! – зло ответил Ковшов. – Воды б дали, потом пытали...

Мужчина сунулся в угол, достал котелок. Ковшов напоил сначала комиссара – тот сразу оживился, стал незаметно осматриваться, глядя в лица людей. Андрей долго тянул теплую воду сквозь искусанную повязку, но выпил немного, всего несколько глотков: ее солоноватость напоминала вкус крови...

– Это правда, что Махин предал? – спросил мужчина.

– Ты кто такой? – задиристо набросился Ковшов. – Тебе чего? Успокоиться не можешь?

– Я большевик, – с достоинством ответил мужчина. – Член Уфимского ревкома!

– Да хватит тебе! – оборвал его Ковшов, ощупывая стены вагона. – Разорался... Раньше орал бы!

– А ты что сказать мне не даешь? – взвинулся тот. – Чего за слова цепляешься?

– Наслушался вас – во! – Ковшов рубанул по горлу. – Хоть тут бы, в тюрьге, покою дали! Один из узников вагона, усатый парень в тельняшке, громко рассмеялся:

– В тюрьме, братишка, революционерам самое беспокойство начинается! Нас вот тут двадцать семь душ, а партий – пять!

– Чему радуешься, Чвалюк? – прикрикнул на него ревкомовец. – Наша разобщенность только контре на руку!

– Я не радуюсь. Я смеюсь! – не согласился матрос. – Плакать, что ли, теперь? Пять партий и две фракции! На двадцать семь душ – не смешно?

– Смешно! – резанул ревкомовец. – Надо к смерти готовиться, а мы перегрызлись тут. По кучкам разбились!

– Возьми да объедини! – веселился Чвалюк. – Создай блок! И всем блоком завтра к стенке станем.

Ревкомовец махнул рукой на матроса и присел возле Шиловского:

– Ты-то кто? Какой партии?

– Беспартийный, – отозвался комиссар.

– Это теперь тоже партия... Потому и предательство в наших рядах, – вздохнул ревкомовец и вдруг спросил: – Вы ничего о товарище Шиловском не слышали? Где он?

Андрей машинально глянул на комиссара, но тут же отвернулся.

– Слышал, – неожиданно отозвался Шиловский. – Его убили два дня назад.

Ковшов удивленно вытаращил глаза, однако смолчал и пошел дальше вдоль стены, исследуя на крепость каждую доску: мол, мое дело маленькое...

– Жаль, – вздохнул ревкомовец. – Так и не свиделись... Гибнут лучшие партийцы.

– Зато болтуны живут! – вставил матрос Чвалюк. – И агитируют!

Ревкомовец сжал кулаки, шагнул к нему, но двое парней тут же встали навстречу. Уперев руки в бока, глядели драчливо.

– Анархию не трожь, – посоветовал один из них улыбаясь. – А то защекочу! – И сделал пальцами «рожки».

Ревкомовец плюнул под ноги и отошел к своим, в дальний угол, где сидело человек семь-восемь, сбившись плечо к плечу.

– Кстати, не козыряй своим Шиловским, – добавил матрос. – Он когда-то и наш пирог ел, да! А от нас к эсерам перекинулся, потом к левым меньшевикам, к центристам... Продолжать?

– Заткнись! Не врал бы... – отмахнулся ревкомовец, видимо, уставший от разговоров.

– Я – вру? – взвился Чвалюк. – Да тебе каждый скажет!

– Развели партий, мать вашу! – вдруг заорал Ковшов и ударил кулаком в стену. – Башки не хватает, не упомнишь! И между собой как собаки, все власти хотят! Власть подавай! А на трудовой народ начхать!

– Эй, а ты-то за кого? – окликнули Ковшова.

– Я самый настоящий большевик! – Он постучал своим кулачищем в грудь. – И не метаюсь никогда!

– Иди к нам! – позвал ревкомовец. – Давай сюда!

– А пошли вы! – огрызнулся Ковшов. – Я здесь долго оставаться не собираюсь. Ночью же уйду!

– Были уже такие ходоки, – проворчал кто-то из лежащих. – Видали...

– Чего – видали?! – окончательно взъярился Ковшов. – Расселись тут, спорят!.. А предателей надо к стенке, и все дела! И лучше вешать, за ноги! Попался бы Махин!.. А вы агитировали его... Эх, моя бы власть... Нас вон чехи давят!

– Слышь, браток, – потряс Андрея за рукав боец с перевязанной ступней. – Говорят, какой-то полк в степи еще есть, за «чугунку» прорывается. Как раз у нашего разъезда... У нас надежда на него...

Андрей, оглушенный руганью и шумом, повернул голову к красноармейцу, и на миг лицо его показалось знакомым. Почему-то теперь все люди в военной одежде казались ему знакомыми, словно вместе с гимнастеркой человек надевал сшитую на один манер судьбу. Боец, увидев кровавые бинты, закрывающие лицо Андрея, чуть отшатнулся, страдальчески сморщился.

– Оставьте свои надежды, – за Андрея сказал Шиловский. – Полка больше нет.

– Значит, нас всех тут кончат, – уверенно проговорил красноармеец, обращаясь к Андрею. – Жалко... Опять земля непахана останется. Думал, с войны приду – пахать буду... Сказали, революцию сделаешь – пойдешь домой и земли дадим. Думал, ладно, раз говорят... Опять непахана будет... Жалка-аа...

В этот момент звякнул запор, и дверь откатилась. Солдат-чех втолкнул в вагон избитого в кровь сумасшедшего – того самого, что тащил комиссара. Чехи тогда его отпустили, убедившись, что он полоумный. Теперь, видно, кто-то опять поймал и привел на разъезд.

Сумасшедший трясся всем телом, будто перемерз на холоде, сидел на корточках возле двери, глядел перед собой.

– Эх, говорил же, дай стукну, – пожалел Ковшов. – Так нет...

Перешагивая через людей, он в который уже раз обходил вагон вдоль стен и ощупывал доски, пробовал на крепость ногой. Наконец с улицы постучали прикладом. Тогда он опустился на четвереньки и стал изучать пол.

Андрей выбрал место у стены и лег. Голова оказалась ниже ног, и кровь сразу же застучала, забила в ране, прорываясь сквозь взявшуюся коркой повязку. Он подгрел соломы под голову, подложил руку, но кровь не унималась. Пришлось завернуть полы френча, обмотать ими голову и зарыться в солому...

4. В ГОД 1890...

Весной, в Страстную неделю, пришел откуда-то в Березино чужой человек. Был он то ли из нищих, которые в то время хаживали по селам накануне Пасхи, то ли просто бродяжка и ярыжка подзаборный. Видали его и пьяным, и с сумой возле часовенки и замечали только потому, что от него разило нечистотами да глаза горели лихорадочным огнем. Никто не знал ни имени его, ни родства. После всенощной службы нищего нашли мертвым. Говорят, кто-то выгнал его из часовни: невозможно было рядом стоять, больно уж воняло. И еще говорили, будто за такой грех и наслал Бог кару свою на березинских...

Сердобольные старушки подняли горемычного, обмыли, обрядили с миру по нитке, приезжий батюшка, служивший Пасхальную службу, отпел его наскоро, после чего, не дожидаясь и трех дней, схоронили на березинском кладбище. И после Радуницы наверняка бы забыли, но вдруг одна за одной захворали старухи, что обихаживали нищего, причем болезнь скрутила так яро и стремительно, что березинские и понять не успели, какая хворь привязалась. Спихватились поздновато. Привезенный Иваном Алексеевичем лекарь определил холеру у внуков покойных старух, двух мужиков и одной бабы на сносях.

Еще какое-то время в Березине хорохорились, продолжая жить по-прежнему бесшабашно, но когда на тот свет отправились те, кто уже заболел, тишина в селе стала напоминать кладбищенскую. Отрезанные со всех сторон кордонами, люди отсиживались по избам и были по сути обречены на гибель. Уже прошел горячим и душным ветром слух, будто власти хотят сжечь Березино вместе с людьми, чтобы зараза не начала распространяться по всей Сибири. Однако барин Иван Алексеевич, обойдя дворы, убедил всех, что поджигать никто никого не собирает и кордоны за околицей выставлены исключительно для охраны села – на тот случай, если кому из свободненских вдруг и впрямь взбредет в голову запалить соседей.

Зловещий призрак смерти реял в воздухе. Несмотря на заверения старого барина, крестьяне пали духом. Не огонь, так холера приберет всех, минет только срок – и снесут березинских на погост. О холере наслышаны были и знали, какая это болезнь. У кого-то еще хватило силы отомстить безвестному нищему: его вырыли из могилы и выбросили в исток Кровавого оврага.

Ожидание неотвратимой смерти было куда опаснее, нежели сама холера. Одни ударились в запой, другие молились день и ночь, а время было посевное, и над непаханой землей звенели жаворонки. Березинские равнодушно вздыхали: теперь, мол, свободненским раздолье, вся раскорчеванная земля им достанется. Ведь не утерпят, чтобы не припахать от чужой полосы, прибрать к рукам соседский клин. Наверняка и служивые кордонов подкуплены старожилами, раз не выпускают за околицу...

Между тем холера косила людей; правда, мерли пока только слабые – старики и ребятишки. На кладбище выкопали одну глубокую яму и складывали туда покойных без гробов, засыпая густо известью, как велел лекарь, и прикрывая могилу досками. Единственный колодец был засыпан той же известкой, и за водой теперь ходили кто на речку, кто в болотину или на ключ. Причем каждый своей тропкой: сельчане шарахались друг от друга, держались семьями, да и то, стоило кому-либо захворать, как больного немедленно выносили из избы во временный лазарет и сразу прощались. Лекарь давал какое-то снадобье, но оно не помогало. Обреченные кричали и плакали, нагоняя тоску на здоровых. А тут еще каким-то образом проникла в село свободненская кликуша-нищенка. Безбоязненно разгуливая по улицам, она кричала:

– Наказанье Господне вам, ироды! Почто к нам приехали? Земельки захотели вольной? – и тыкала крючковатым пальцем под ноги: – Вот вам земля! Вот вам!..

У нее во время схватки на Кровавом овраге убили мужа. И она, тогда еще совсем молоденькая, свихнулась. И с тех пор бродила по окрестным селам, нищенствовала и проклинала новопоселенцев...

Кто-то швырнул в кликушу из-за заплота первый камень. И, словно ожидая сигнала, повыскакивали со дворов бабы и в мгновение ока забили нищенку насмерть. До ночи лежала она на площади серым, невзрачным комом, пока кто-то сердобольный не сволок ее на кладбище и не бросил в яму к холерным покойникам.

Случилось это в канун Троицы.

Иван Алексеевич, едва началась холера, переселился на старое гумно и велел сыну Александру запереть все ворота усадьбы. И каждый день старый барин спускался с холма в село, помогал свозить покойных из лазарета и привозить в лазарет заболевших, вместе с лекарем ходил по дворам и как мог успокаивал народ. Сыновья вначале пробовали его уговорить не искать беды и не ходить в село, но Иван Алексеевич и слушать не хотел: он словно даже радовался, что случилась такая напасть и что можно наконец как-то помочь крестьянам. Доходило до того, что старый барин сам месил и пек хлеб в общественной пекарне, построенной им самим незадолго до холеры, а потом ходил и разносил караваи по избам.

– Я старый, – отмахивался он. – Ко мне никакая холера не пристанет.

И в самом деле не приставала.

После того как кликушу-нищенку забили камнями, Иван Алексеевич съездил тайно в Есаульск и уговорил такого же старого священника поехать в Березино. Вместе с ним он пошел по селу от двора ко двору. Батюшка окуривал кадиллом, читал молитвы, а старый барин увещевал:

– Хвори злобой не одолеть. Поднимайтесь-ка и выходите на улицу. Совет держать будем. Вече соберем! Выходите!

– Будь ты проклят! – кричали ему из-за заплотов. – На смерть нас привез! На погибель в Сибирь приехали!

– Остепенитесь, люди! – взывал барин. – Выходите на сход! Ведь так-то перемерете поодиночке! Хватит лежать и смерти ждать. Меня-то не берет холера! Живой хожу – видите? Выходите! Помирать, так всем миром помирать будем!

А сам аж светился весь, щеки от румянца пылали, и сверкали глаза.

– Коли по хуторам бы жили – не случилось такого мора! – с какой-то застарелой обидой напомнил Иван Алексеевич. – Ну а если сбились в кучу, на миру жить захотели, так уж миром ступайте до конца. И я с вами пойду! Не думайте, не оставлю. Выходите, да завтра с зарею станем храм обыденный ставить!

Но и храмом никого не выманил он со дворов, посулами избавления от холеры не дозволялся, однако же притихли березинские и больше не отвечали.

Той же ночью уговорил он двух мужиков, что при имени жили, запряг коней в тележные передки и поехал валить лес. К рассвету порядочно заготовили, а четыре лиственницы на первый венец вывезли на площадь возле часовни и ошкурили. Батюшка освятил место под храм, и взялись мужики вместе с барином вязать нижний венец. И лишь застучали топоры – полезли из своих нор сначала уцелевшие старики, те, которые с Иваном Алексеевичем из России приехали и еще крепостное право помнили; пришли, поглядели и молча разошлись за инструментом. За стариками мало-помалу потянулись мужики помоложе, шли пока без всякой надежды и веры, вступали в общественное спасительное дело с неохотой, пока не прикипели к работе и не выступил на сморщенных лицах первый пот.

К восходу солнца увязали начальный венец и, оглядев его, вдруг поверили, а поверив, стали молчаливее, строже, расторопнее. Откуда только сноровка и сила взялась! Никто не распоряжался, не управлял, да храмов никому раньше строить не приходилось, однако тут березинские мужики ровно вспомнили это мудреное и святое дело. Одни, прорвав кордон, рину-

лись в ближний сосняк валить лес; другие, не жалея коней и собственных сил, тягали бревна на площадь; сюда же сошлись все, кто еще мог ходить и кое-как двигаться. И чем выше поднималось солнце над горизонтом, тем горячей становились люди. Работали неистово, одержимо, корячились и хрипели от натуги, заваливая тяжелый, сырой лес на сруб, трещали мокрые от пота рубахи, свежая, по-весеннему обильная живица постепенно обволакивала руки, плечи, лица и волосы; в ладони мужиков будто выросли топорича. От жадности на работу мужики аж постанывали и воровато озирались по сторонам, словно боялись, что вдруг придет кто-то и отнимет у них эту последнюю надежду и возможность уберечься от смерти.

Поднималось солнце, и вместе с ним поднимался над землей церковный сруб. И когда оно достигло зенита, с березинскими что-то произошло. Вдруг спала болезненная ярость, с которой работали все – мужики, бабы, старики и ребятишки, исчез дух отчаяния и восторжествовал рассудок, хотя никто особо не рассуждал – строили молча, стиснув зубы. Сами они ничего в то время не заметили, и старый барин ничего не ощутил. Разве что содрал с себя мокрую и черную от смолы рубаху и надел чистую, вновь взявшись за топор. И мужики, сами по себе, тоже обрядились в свежие рубахи, бабы надели праздничные кофты и передники. Не стовариваясь и не обсуждая, каждый словно еще раз поверил, что храм встанет к заходу солнца, поднимет животворящий крест над обреченным селом, а значит, и отступят черная хворь и смерть. И восторжествует жизнь!

Стоявшие на кордонах солдаты оставили свои посты и один за другим сторожко приблизились к селу. Они смотрели издали на оживших людей, и храм, растущий на глазах, завораживал. То было удивительно и необъяснимо: чуть ли не сотня человек, еще вчера полумертвых, сегодня слаженно и старательно работали, не мешая друг другу и сохраняя при этом полное молчание. Доносились лишь короткое, под удары топоров, кряканье, хрип взмыленных коней; запаленно дышали бабы, шкура железными лопатами лесины и таская в передниках мох; шмыгали носами ребятишки, виснувшие на стенах с конопатками в руках; и даже продольные пилы на высоких козлах бормотали негромко и коротко...

Прослышав, что задумали и делают березинские, из Свободного прихрамал глянуть на чудо какой-то старик. Постоял, разинув рот, подивился и торопливо заковылял назад. Скоро свободненские, побросав свои дела, потянулись к соседям.

Узнав о холере, они дорогу к себе возле Кровавого оврага перегородили тыном, и сторожа своего выставили, и все время, пока мерли соседи, в их сторону и смотреть-то опасались. Тут же, забывая всякую осторожность, переступили неохраемую околицу и вошли в Березино. Сгрудились у площади и смотрели настороженно, с подозрением. Мысленно они уже давно похоронили березинских: коль напал мор, вряд ли кто выживет, дело известное. А они вон что вздумали!

И вдруг заплакали свободненские бабы, а мужики закричали:

– Мы вашей земли не пахали! Не трогали! Вы уж не думайте!

А старик опустил на землю, попил воды, разомлел и сел под стену на щепки дух перевети. О нем тут же и забыли. Но когда поставили стропила, хватились – а он уже щепками по грудь завален и окостенел. Отнесли старика Понокотина в храм, положили за алтарь – там другие старики столярничали, – топоры за пояса – и снова на стены полезли, будто от супостата отбиваться. Сами же всё на солнце поглядывают – дело к закату идет, а еще купола нет и крест на земле лежит. В самом же храме леса налаживают, чтоб стены тесать, и окна без рам глядят на мир, словно бельмастые слепые глаза.

Свободненские впервые почувствовали себя чужими. Можно бы и помочь, да как, если всю жизнь во врагах живут, а святое дело с открытой душой делать надо. И, страдая от неловкости, но виду не подавая, покрикивали на березинских, поторапливали:

– Чего копаются-то? Чего телитесь? Солнце на закат, а они ходят как вареные!

– Не поспеете же, не поспеете, варнаки!

И тут произошло такое, что, не будь сторонних свидетелей, вряд ли бы кто березинским потом поверил, если бы стали рассказывать. Впрочем, сами они, занятые работой, чуда вовсе и не заметили. Одни в храме стены вытесывали, другие рамы стеклили и ставили, а те, кто поздоровее, поднимали тем временем купол-луковицу на самый верх. Тут уж недосуг по сторонам-то смотреть.

А чудо было такое: солнце дошло до горизонта и будто уперлось в незримую стену – ни с места! Свободненские оцепенели, глядя на солнце, и даже дышать перестали. Боязно им сделалось. Вот уж и недоенные коровы обрелись по дворам, и куры по насестам расселись, петухам кричать бы, а светло...

И стояло солнце на небе, пока березинские купол не подняли и крест не водрузили. Всё успели: и крышу тесом покрыть, карнизы пришить, и в храме прибрались, щепу да мусор бабы в подлогах перетаскали и разбежались по избам за иконами и лампадками. Батюшка веничек связал и покропил святой водой углы да окна – освятил храм.

Говорят, пока солнце задерживалось на небосклоне, глядеть на него было нельзя, слезы наворачивались.

Вдруг хватились мужики – нечего больше делать! И, словно очнувшись, встали кругом храма, глядят – глазам не верят: откуда взялся? Оторопели, к месту бы перекреститься, да руки как срослись с топорами – не оторвать. И мужики топорами перекрестились.

Тем временем батюшка службу начал в пустом храме, и голос его таким гулким показался, что, говорят, даже немощные по избам слышали и ползком на площадь поползли. Священник из Есаульска настолько стар был, что и псалма вытянуть не мог, а тут грохочет басом – воздух на улице дрожит. Народ и вовсе оробел, никто через порог церкви ступить не смеет. Тогда поднялся старый барин на паперть, снял шапку и вошел. За ним кое-как потянулись и остальные, но озираются, дивятся. Потом и свободненские насмелились, за ними – солдаты караула. Народу набилось – ступить некуда. Считай, два села с гаком вышло.

Всю ночь длилась служба в обыденном храме. Свободненские и кое-кто из солдат на клиросе пели, да только березинские ничего не видели и не слышали. Войдя в храм, они повалились на пол и мгновенно уснули перед алтарем. Лежали как мертвые, хоть отпевай. И никого добудиться не могли. Лишь топоры у сонных вывалились из рук. Батюшка прошел среди мужиков, собрал инструмент и под иконы сложил.

Наутро обряженного старика Понокотина отнесли на погост и последним положили в яму с холерными покойными. А яму тут же засыпали и отметили место большим холмом и высоким крестом. Не мешкая, мужики разошлись по дворам и начали доставать плуги и сохи. На пахоту выезжали будто на пожар: кругом уже все отсеялись. Пахали каждый свой клин, однако несколько раз на дно сбегались все вместе покурить и просто посидеть на теплой земле. Почти не говорили, не балагурили, но подолгу не могли расстаться, хотя торопило и подгоняло время.

Однажды, собравшись на поле у молодого Понокотина, стоворились пахать и сеять сообща, артельно. Помочи и раньше случались в Березине, однако лишь тогда, когда хозяин просил. Тут же стихийно согнали коней на одну полосу и за час вспахали. Потом другому хозяину, третьему, и так это дело понравилось, что ходили березинские мужики и руками хлопали: да как же раньше-то на ум не приходило?! Вон как быстро и весело работать! А старый барин-то ишь чего хотел – по хуторам расселить, чтоб жили, как сычи, как лешие по лесам.

И, едва отсевшись, стали ждать покосов.

5. В ГОД 1905...

Косили в Иванов день обычно мало. Для пробы выкашивали береговой взлобок, а из травы строили новые шалаши. Потом занимались хозяйством – поправляли прошлогодние стожары, набивали травой матрацы, между делом купались, а одно большое общее купание устраивали перед обедом, который привозили бабы.

Затем спали в шалашах, пахнувших свежими, но уже увядающими травами. Проснувшись, вылезали на свет божий и еще немного косили, чтобы размяться. Потом дружно садились за празднично-покосный ужин, добрым словом поминая именинника Ивана Алексеевича.

Целый день Андрей крутился среди мужиков, помогал отцу, потом удил рыбу с конюхом Ульяном Трофимовичем, купался в речке и ждал вечера. Вместе с обедом мама привозила на покос Оленьку, и он водил ее под берег – показывал стрижиные норки и ловил мальков на песчаной отмели. Сестра так весело и долго смеялась, глядя, как Андрей ползает или падает животом на стайки рыбешек, что потом горько и неутешно плакала, когда ее увозили домой. А ведь говорил же ей: не смейся громко – плакать будешь, примета верная. Но Оленька не слушалась: у нее уже в то время проступал дедов непокорный и своенравный характер.

Ужин привезли, когда спустились сумерки: над лугом зародился легкий туман, и его полотнища застелили низинки, чуть прикрыв траву. Нарастая, они медленно колыхались, словно их кто-то встряхивал, взяв за углы. А там, где отсветы угасающего зарева достигали этих полотен, ходили беззвучными молниями огненные сполохи всех цветов радуги. На какой-то миг, прежде чем вечер высинил небо, воздух и луг, земля стала похожа на новенькое лоскутное одеяло. Дышалось вольно, прохлада выгоняла росу, и все кругом цепенело от задумчивости и тишины; хотелось самому замереть и слушать, слушать...

Андрей поскорее выбрался из-за стола и теперь ходил за шалашами, по отмякшей стерне, ожидая, когда застолье допьет свои чарки, поговорят, попоют тихие песни и станут зажигать костры. Свой костер он уже приготовил днем, осталось лишь чиркнуть спичкой, однако покосники засиживались, а надо, чтобы огни вдоль реки вспыхнули и горели одновременно. Тогда была красота...

Впрочем, на темнеющем стане уже был огонек. Саша, пристроившись к углу шалаша, зажег свечу и опять что-то читал. Андрей услышал шорох за телегами, сдавленный смех и хотел было заглянуть туда, но вдруг кто-то невидимый окатил его водой из ведра. У Андрея остановилось дыхание. И сразу же из-за телеги выскочила длинноногая, в холщовом платье, девчонка – Альбинка Мамухина. Она кинулась к реке, но запуталась в корневищах черемухи, сползшей с яра, растянулась, и ведро ее запрыгало в воду. Мокрый насквозь, Андрей в первый момент ощутил толчок негодования – горячая волна захлестнула голову, но, заметив, что Альбинка сползает на животе под берег, он засмеялся и, опередив ее, выхватил полное ведро из реки и облил всю с ног до головы, лежащую и беспомощную. Она попыталась вскочить, но Андрей плеснул еще раз, потом еще, черпая теплую, парную воду. И Альбинка ожила, завизжала и покатила колобком в реку. Длинная коса ее наматывалась на длинную шею. Она больше не сопротивлялась и будто хотела, чтобы ее обливали. Неожиданно в ее крике страха и восторга Андрей уловил что-то, от чего на мгновение замер, и его бросило в жар, как минуту назад от негодования. Он выпустил ведро и, пугаясь своего чувства, попятился. Альбинка же перевернулась на спину, раскинула руки и засмеялась, будто ее щекотали; сквозь мокрое платье, облепившее тело, проступали маленькие живые бугорки. Андрею стало невыносимо стыдно, и, застигнутый врасплох этим чувством, он кинулся на берег...

И только сейчас увидел, что вдоль реки уже полыхает десятка два костров, озаряя воду и вершины берегов. Опомнившись, он нашел в кармане липкий коробок, потом вслепую стал искать заготовленную кучу хвороста. Но кто-то неосторожный развалил ее в потемках, к тому

же размокшие спички ватно чиркались и не зажигались – беспомощность и обида закипели в глазах. В следующий момент он увидел двоящийся огонек свечи, бережно несомый к нему чьей-то рукой.

– Саша? Саша! – крикнул он от нетерпения.

Альбинка все еще смеялась, только уже не под яром, а на середине реки: веселый плеск воды смешивался с треском разгорающихся кругом костров.

Саша поднес свечу к хворосту, и они вдвоем нашли свиток бересты, припасенный для растопки; дрожащими, торопливыми руками запалили ее, обложили мелкими веточками, сучочками и сухой прошлогодней травой. Волглое от ранней росы, все это сначала задымил, придушивая огонь, но Андрей лег и стал дуть, пока не закружилась голова и пламя не набрало жару. А когда он встал – Саша уже уходил в шалаш и уносил свою свечу.

Огонь разгорелся яркий, от мокрой рубахи повалил пар, и все другие костры, вмиг потускневшие, невзрачно шаяли в темноте ночными лампадками. Андрею захотелось кричать от радости, но свечение костра притягивало взгляд, заставляло цепенеть мышцы, останавливало рвущийся из души восторг. В голове тлела одна-единственная мысль, когда-то давно поразившая его и теперь неизменно разгорающаяся вместе с костром. Пламя, бушующее сейчас перед глазами, могло родиться из одной искры, которые сейчас тысячами уносятся в небо. Но самое главное – и непостижимое! – огонь может снова обернуться искрой. А то и вовсе погаснуть. Куда же исчезает эта огненная стихия? Куда?! Где и в каком состоянии находятся свет, тепло и само пламя, пока его не зажгли?

Он мог бы думать так, углубляясь в новые и новые вопросы, однако мысль упиралась во что-то непонятное, возвращая думы к их началу, и образовывался заколдованный круг: искра – пламя – искра – ничто... Ему казалось, еще чуть-чуть, и он вывернется из этого круга, он ждал озарения, но в самый последний миг что-то обрывалось.

Андрей жался к огню, машинально подгребал огарки хвороста и не сразу услышал, как в пение искры вплелись далекие голоса женщин. Созвучие их было недолгим, вот уже голоса набрали силу и долгое эхо откликнулось за рекой. Андрей узнал голос мамы, как бы узнал спряденную ее руками нить среди множества других льняных нитей; он вскинул голову и, смаргивая белое пятно, увидел Альбинку. Подрагивая от озноба, она сидела по другую сторону костра и распускала мокрую косу. Влажные волосы ее золотились от огня, тяжело обвисали, клоня набок маленькую головку. Потом она достала костяной гребень и начала расчесывать волосы, закрывая ими лицо. Худенькие руки ее с острыми локоточками плавно скользили над головой; и гребень, чудилось, не касается волос, однако они распадаются на множество тонких прядей, мгновенно высыхают и, становясь невесомыми, парят в жарком воздухе, а пронизывающие их потоки искр создавали ощущение, будто искрятся сами волосы.

Андрей смотрел зачарованно и чувствовал, как от жара ссыхается кожа на лице и становятся сухими шершавые губы. Он не различал уже костров на берегу – может быть, они давно отгорели и потухли, а мужики разошлись спать, только все еще слышалось пение женщин, и Андрей непроизвольно отыскивал в нем мамин голос – как в потемках отыскивают ногами тропку. А волосы у Альбинки совсем высохли и теперь реяли над головой так, что она никак не могла собрать их, чтобы заплести в косу; подсохшее холщовое платье деревянно шелестело от каждого движения.

Альбинка кое-как заплела косу, туго обвязала голову платком и вскочила, озираясь.

– Пойдем смотреть, как папороть цветет?! – позвала она. – Скоро полночь!

– Пойдем, – одними губами вымолвил Андрей.

Он бежал по высокой траве за мелькающим светлым пятном впереди и боялся потерять его либо спутать с другими, что мельтешили в глазах от костров на берегу. И удивительно, что ни разу не споткнулся, не угодил ногой в яму или рытвину, которых было много на заливаемом

лугу; даже когда потом неслись по лесу, сквозь кусты и колодник, ни одна ветка не ударила по лицу.

В каком-то месте, среди сосен и парной травы, Альбинка очертила палкой круг и торопливо заскочила в его центр.

– Скорей, скорей! – пришептывала она, осторожно опустившись на землю. – Да папороть-то не мни, все цветы поломаешь!

Андрей сел рядом с Альбинкой и затих. Он все еще не мог приглядеться в темноте – перед глазами прыгали зайчики. Он только чувствовал все и особенно остро слышал, будто слепой. Необмятое, высохшее платье Альбинки шелестело, казалось, даже от стука сердца. Она часто-часто моргала, словно боялась расплакаться, и дышала так, как если бы ступала в холодную воду.

– Андрюшка, ты загадал желание? – вдруг зашептала она в самое ухо, и стало щекотно. – Загадал?

– Нет, – проговорил он. – А зачем?

– Чтобы сбылось! Сбылось чтобы!

Андрей, заражаясь ее возбужденностью, стал лихорадочно думать о желании и ничего не мог придумать. В ту минуту под рукой не оказалось ни одного!

– Ой, недотепа, – то ли укорила, то ли пожалела она. – Ну, хоть зацветет, так рви, не зевай. Как увидишь, так рви. И из круга не выходи, а то пропадешь.

Отчего-то по спине побежали мурашки и ознобило голову.

Неожиданно Альбинка, придавив ладошкой свой крик, схватила его за руку. Он ощутил ее крупную дрожь и сам невольно затрясся.

– Рви! – приказала она. – Видишь?.. Свет!

И первая стала хватать что-то, встав на колени и постанывая, как испуганная и суетливая бабенка. Андрей хлопал глазами – куда ни глянь, всюду роились зайчики, бились и множились, словно серебристая лунная дорожка на воде.

Альбинка разом ослабела, облегченно перевела дух и сказала, будто после тяжелой работы:

– Слава богу, управились! Теперь держись!

Он же все еще ошалело крутил головой и щупал руками влажную хрусткую траву.

– Да уж опоздал, – как-то ласково и жалеючи вздохнула она. – А я вот успела! Эко, цветов сколь!

В руках ее что-то светилось, озаряя лицо.

– Везучая, – вздохнул Андрей. – Чудная, как и имя у тебя чудное, нездешнее...

Сильный ветер вдруг качнул травы, приклонил их к земле, стряхнув на лицо росу. И пошло гулять по лесу, шевеля и перебирая листву. Андрей задохнулся от ветра. Альбинка прижалась к нему и снова задрожала. В лесу вдруг протяжно закричало, заухало, и где-то рядом, обдав свежей листвой, рухнуло огромное дерево...

– Сиди! – выдавила Альбинка, обнимая Андрея. – Нечистая сила беснуется! Отнять хочет!

Лес уже гудел, кроны сосен почему-то гнулись к земле, словно кто-то огромный плющил их сверху, стремительная хвоя носилась в воздухе и колола лицо. Кто-то рядом закричал, завизжал истошно, и Альбинка, подхватив этот визг, нырнула головой к животу Андрея. Он прикрыл ее руками, едва сдерживаясь, чтобы не закричать самому: губы прыгали и не слушались, волосы стояли дыбом.

Ветер опал так же внезапно, как и налетел; через минуту все успокоилось и тихо стало кругом. Альбинка будто заснула, лишь горячее ее дыхание, проникая сквозь его рубаху, согревало зябнущую грудь. И оттого, что она в минуту страха бросилась к нему, ища защиты, и

нашла ее, Андрею стало приятно до мурашек на коже. Он тронул ее зажатые, сложенные вместе руки, проговорил:

– Все, тихо стало.

Она боязливо приподняла голову и снова уткнулась в грудь:

– Страшно!

– Не бойся, – успокоил он. – Никого же нет!

– Правда?

– Правда, посмотри сама.

Альбинка села, а потом, встав на колени, долго осматривалась и вслушивалась, не разжимая рук. Наконец успокоилась, и радость прозвучала в ее голосе:

– Успела! На всех нарвала! Всем хватит!

Альбинка была девятой в семье, жили они трудно, спасались чаще всего дармовым хлебом из общественной пекарни. А прежде было их еще больше, но от холеры умерло четверо ребятшек. Пятый же, двумя годами старше Альбинки, выздоровел, когда построили обыденный храм, однако ослаб на голову. Звали его Ленька-Ангел. Почти круглый год он ходил босой, в длинном тулупе без рукавов и бабьем платке. Остановив кого-нибудь на улице, он заступал дорогу и просил «чего-нибудь». Каждый встречный, кто знал Леньку, обязательно давал ему какую-либо мелочь, ерунду – ржавый гвоздь, стеклышко от бутылки или горошину. Ленька был доволен и говорил:

– Боженька велел не трогать пока. Срок не вышел. А как выйдет, я приду за тобой и уведу. Так хорошо, анделы, анделы кругом.

Одни Леньки-Ангела побаивались, обходили стороной, другие, наоборот, лезли на глаза – узнать, не вышел ли срок. Встретить его на улице считалось хорошей приметой. Но однажды Ленька-Ангел остановил старуху посреди села, еще крепенькую и бойкую, заглянул ей в глаза и сказал, чтоб шла домой и ложилась в постель, а «я через часок нагряну и заберу тебя». Старуха ему бублик в руки пихала, копеечку, найдя в кармане, отдавала – не принял.

– Иди, баушка, ступай, – приказал он. – Пора...

Старуха опомнилась, поняла, что на сей раз ей не откупиться, пошла к себе в избу, легла на постель и через час убралась...

Альбинка вдруг протянула руки к Андрею и чуть разжала ладони – лучик света вырвался и проколол тьму, а пальцы ее засветились, так что видна стала каждая жилочка.

– Хочешь, возьми немножко? Чуть-чуть? И моим останется...

– Нет! – замотал он головой. – Зачем?

– Эх ты. – Она снова сжала ладошки. – Тогда бежим! Да не оглядывайся! Упаси бог!

И лучше бы не предупреждала. Они снова бежали по лесу, затем по некошеному лугу, и везде кто-то гнался за ними, почти настигал и дышал в затылок. И нестерпимо хотелось оглянуться!

Когда под ногами захрустела подсохшая кошенина, они повалились на землю и долго лежали, отпыхиваясь. Костры на берегу давно угасли, покосники спали в шалашах, а за рекой паслись невидимые лошади, отфыркивая ночные запахи. В шалаше Березиных горела свеча, зелено просвечиваясь сквозь травяную стенку.

Рядом с людьми все страхи исчезли, и сморгнулись, истаяли зайчики в глазах. Андрей разглядел наконец лицо Альбинки, отчего-то печальное и кроткое. Она лежала, сомкнув веки, раскинув руки с крепко сжатыми кулачками. Босые ступни чуть-чуть выглядывали из-под широкого подола, словно притаившиеся зверьки. Андрей подполз ближе. Жар снова окатил голову, перед глазами поплыло светлое пятно, как от костра. Ему чудилось, будто Альбинка опять заснула – не слышно стало дыхания, и кулачок с торчащими травинками слегка разжался. Андрей подпер голову руками и не скрываясь смотрел в ее лицо. Возникло ощущение таинства, как если бы он был у костра и смотрел в огонь.

– Ты когда вырастешь – будешь жениться? – неожиданно спросила Альбинка, не открывая глаз, и почудилось, будто спрашивает кто-то другой.

– Не знаю... – промямлил он и, спохватившись, добавил твердо: – Буду. Все женятся.

Она резко приподнялась, заговорила громким шепотом:

– Возьми меня, а? Андрейка? Ну возьми! Когда вырастешь? Ведь твой отец взял Прошкину девку? И ты меня возьми!

Андрей вскочил, чувствуя, как трудно становится дышать, словно ночной воздух враз погорячел и обжигает грудь.

– Возьму, – сорванным голосом вымолвил он и брякнул совсем не к месту: – Я тебе платье красивое справлю, с оборками, как у мамы.

И побежал. Альбинка звала его, кричала вслед, чтобы он взял немножко цветов, но неведомая сила словно бы несла Андрея прочь, и ноги едва касались росных верхушек трав...

Он проспал зарю и тот момент, когда мужики вышли с косами, встали друг за дружкой и пошли вдоль по левой «штанине», оставляя за собой шевелящиеся ряды сваленных трав. В это время Андрею снился сон, будто они с Альбинкой бегут по осеннему проселку, а по обочинам полыхает желто-красное пламя деревьев. И дорога какая-то непривычная, похожая на зарябленный ветром речной песок, не тронутый человеческой ногой, и белая-белая. Они бегут, и Андрей кричит, захлебываясь от восторга:

– Здесь мы будем жить! Жить! Жить!

– Жить! Жить! – вторила ему Альбинка без всякой радости...

Когда он открыл глаза, то сразу услышал, как за стенкой шалаша косы тоже выговаривают: жить, жить, жить... И коростели, проснувшись, надрывались от крика: жить-жить, жить-жить! Даже комары за кисейным пологом вызванивали на высокой ноте: жи-и-и-ить...

Андрей вскочил, наскоро оделся и выбежал прямо на багровое солнце, к которому шли косари. Он снял с телеги свою литовку, вскинул ее, как знамя, и понесся к мужикам.

Две сенокосилки ходили кругами по чистому месту и стрекотали, передразнивая ранних кузнечиков. На одной Андрей узнал своего отца с повязанным, как у бедуина, белым платком.

Рубахи на спинах мужиков уже взмокрели, прилипли к лопаткам. Шли они плотно, словно журавлиный косяк, и взмахи рук чем-то напоминали взмахи крыльев, потому что над густым травостоем уже зарождалось марево, раздваивая косарей. Андрей пристроился к косяку, но мужики тут, словно по команде, остановились, опершись на косы. Прямо к ним, топчя и путая траву, наметом скакал Прошка Грех. Он бочком держался в седле и что-то орал, потрясая костлявой рукой. Надутая ветром рубаха, казалось, сейчас поднимет его из седла, как воздушный шар, и понесет над лугом. К старости Прошка иссох, как вяленый карась, стал прямым, туго гнущимся, но здоровья от этого лишь прибавилось. Теперь он напоминал майского жука: хоть сапогом наступай – в землю уйдет, а жив будет.

– Мужики-и-и! – кричал Прошка, тараща глаза и едва удерживая распаленную лошадь. – Карау-ул, мужики!

Косари сгрудились. Андрей бросил литовку и побежал к толпе.

– Свободненские «штанину» косят! – проорал Прошка. – С утра расчали, супостаты! Уж до «колена» вымахали!

Мужики взроились, кто-то взметнул над головой косу:

– Айда! Пошли!

Ему воспротивились:

– Пускай шпарят! Вытурим, а нам подмога!

Но распаленные работой косари уже двинулись за Прошкой, забыв, что топчут травы. Андрей побежал следом, удерживаясь, чтобы не оглянуться: где-то у реки тарахтела косилка отца.

Свободненские всполошились. Их было больше числом, но каждый косил сам по себе, с бабами и ребятишками, урвав кусок чужого покоса, поэтому при виде березинских весь луг разом пришел в движение. Люди сбегались со всех сторон. И если бы не оружие бабы, не ребятишки разных возрастов, сгрудившиеся за спинами свободненских мужиков, схватка случилась бы немедленно. Однако березинские замялись, нерешительно переглядываясь, выступили на кошенину и остановились. Сдерживало еще и то, что в руках были косы.

Началась перепалка.

– Уходите подобру! – шумели березинские. – Не трожьте чужого!

– А то ваши покосы? Ваши? – огрызались свободненские. – Ишь, набежали хозяева!

– Нашего барина! Убирайтесь!

– То-то, что вашего барина! Да не ваши! С барином и говорить станем! Позахватал все угоды – шагу не ступишь!

– Вам-то кто не давал? Брали бы, когда некоей была!

– Вас не спросили!

– Катитесь, пока ходули не посрубали! – грозились хозяева.

– Привыкли барину зад лизать! – дразнили захватчики. – Крепости нет давно, а вы крепостные!

– А вы-то, вы? Кому зад лижете?

– Мы – свободные! У нас бар сроду не было! Сами себе хозяева!

– Потому и на чужое рот разинули!

– Вон умные люди сказывают, скоро весь народ подыметя и бар под зад мешалкой!

– Вы слушайте больше! Потом они вас и на самого царя подымут! И пойдете, как овцы за бараном!..

Казалось, от перепалки страсти раскалятся, и та сторона, у какой не хватит слов, пойдет врукопашную, но выходило обратное: ярость постепенно истрачивалась, успокаивалась кровь в жилах. Мужики смурнели, переминаясь, и мощный бабий хор за спинами свободненских вял на глазах; там уже лузгали семечки и давали оплеухи колготящимся ребятишкам. Впервые из всей истории стычек между сторонами назревала непривычная, растерянная заминка, и никто не знал, что делать дальше. Обе стороны, как быки, упершись рогами, стояли друг против дружки и не желали уступить.

Андрей понял, что драки не будет, и ощутил даже какое-то разочарование. А сколько сил кипело в мужиках, пока шли по болоту! Распаленный их гневом, Андрей готов был один кинуться в схватку и чувствовал, как от нетерпения и холодящего предчувствия страшного начинают подрагивать руки, будто он снова очутился в кругу, за которым беснуется нечистая сила. Что же стряслось с мужиками? Куда исчезли их решимость и отчаяние? Теперь они стояли, опершись на косы, и часто поглядывали вдоль «штанины», откуда должен был появиться предупрежденный Прошкой барин Николай Иванович. Вон уж кто-то сел, а другой прилег на свежескошенный, пухлый ряд. Свободненские тоже расслабились, достали кисеты, и скоро голубой дым потянулся с обеих сторон. Андрей наконец огляделся и вспомнил, что в конце этой «штанины» есть старый кедр, на котором однажды они с отцом ночевали. Когда-то давным-давно у кедра срубили вершину, и развившиеся шесть сучьев превратились в отдельные толстые стволы, образуя купол. Отец натянул между ними веревки, привязал к ним войлок, и получилась чудесная постель. Захотелось глянуть, цела ли она, не нашли ли ее свободненские мальчишки, однако отходить от своих было еще опасно. Андрей угадывал это по тому, как пусто было четырехсаженное пространство, разделяющее стороны. Лишь мальчик лет трех в рубашонке до пят бегал босиком по стерне, пытаясь накрыть ладошкой голубую бабочку.

– Вот Алексей Иваныч хороший барин был, – услышал Андрей почти совсем мирный голос. – Барин как барин...

– Бар хороших не бывает! – заявил мелковатый мужичок из свободненских по имени Дося. – Все кровососы!

– Поил вас задарма – так и хорош был! – откликнулся Митя Мамухин, и Андрей мгновенно вспомнил забытую впопыхах вчерашнюю ночь. Он высмотрел Альбинкиного отца, лежащего на спине, и теперь глядел, словно не мог узнать: что-то в нем изменилось со вчерашнего дня, хотя на вид – тот самый Митя Мамухин: драные сапожишки, худой, кадыкастый и наверняка ленивый. Чуть останутся мужики – он уж прилечь норовит, а если сядут – он уже спит с открытым ртом.

Однако на сей раз уснуть ему не дали.

– Чья б корова мычала! На себя глянь! – стал задирать его свободненский кузнец Анисим Рыжов, огромный рыжебородый человек. – Мы хоть пили задарма, а ты и пожрать норовишь! Кусошник!

Митя Мамухин чуть приподнялся, погрозил кулаком:

– Вот подойду да наверну по башке! Так подметки и отлетят!

– А ты подползи! – засмеялись свободненские. – Ниже падать будет!

Мамухин выругался и снова лег. Андрею же стало не по себе, что над Митей смеются. Обидно было, что тот и ответить толком не может.

– Умные люди говорят, хороших бар не бывает, – снова повторил Дося и выступил вперед своих. – Потому как есплутаторы трудового народа!

– А где ты видал в Свободном умных-то? – засмеялся конюх Ульян Трофимович. – По моему, у вас дак одни полудурки! Уж не ты ли, Дося, умный то?

Дося, смутясь, оглянулся на своих и утер черную от загара лысину, кхекнул.

– Раз вам морды еще не порасквасили, оно, может, и правда, полудурки, – резонно заметил он. – Да вы моего постояльца видали?

– Мы бы и тебя не видали, – отмахнулся Ульян. – Было б на кого смотреть.

– А вы поглядите да послушайте!

– Эка невидаль! Тебя, что ли?

– Да постояльца моего, олухи! Небось сразу б своему барину шею согнули! Он человек расейский, ваших кровей, а эвон дошлый какой! Не вы, по-рабскому угнетенные...

И вдруг осекся на полуслове, втянул голову в плечи и быстренько нырнул в толпу. Говор и шум разом оборвались. Андрей глянул туда, куда смотрели все, и озноб свел кожу на темени...

Ленька-Ангел остановился между толпами, с блаженной улыбкой поглядел на одних, на других, воздел палец кверху и уже глаза закатил, словно петух, прежде чем кукарекнуть, но тут увидел впереди мальчика, который гонялся по стерне за бабочкой. Ленька, высоко подпрыгивая и опаживая тулупом травы, вдруг устремился к нему, и мальчик опомниться не успел, как тот крепко схватил его за руку.

– Пошли со мной! – потянул в сторону. – Ой, что-то покажу! Анделы там.

Баба, что крестилась, закричала, запричитала, у свободненских возник переполох, а мальчик громко заплакал и пошел за Ангелом. Кузнец Рыжов, страшный и решительный, вывернулся из толпы и побежал к Леньке:

– Куд-да?! Куда ты его, ирод?!

– Дак на небушко! – сказал Ленька. – Покажу да отпущу!

Рыжов вырвал у него ребенка и, гневно оглядываясь, ушел к своим. А Ленька подхватил полы тулупа и побежал вдоль «штанины» – только пятки засверкали.

А там, где он пропал из виду, вдруг показались два всадника. Андрей узнал отца и Прошку. Сразу стало легче, и вмиг забылся неведомо откуда взявшийся Ленька-Ангел. Березинские, довольные, загудели; свободненские насторожились.

Отец спрыгнул с лошади, сорвал с головы картуз.

– Мужики! Добром разоидемя! Хватит с нас и одного оврага!

– Что случилось? – откликнулся Анисим Рыжов. – А то, что прозрели мы! Разули глаза, теперь не проведешь. Все луга к рукам прибрал!

– Побойтесь бога, мужики. Что ж вам – косить негде?

– Нам здесь больше ндравится!

– А вам понравится, если я ваши луга косить пойду? – нашелся отец. – Грех чужое брать.

– Чужое? – уцепился Рыжов. – Мужики на тебя спины гнут, а ты наживаешься! И уж будто твое! Тебе не грех ихний труд себе брать?

– Какое ваше дело? – загудели березинские. – Он нам платит! И коней дает, и косилки. Мы сообща живем, а вас завидки берут!

– Было б чему завидовать! – заорали свободненские. – Вы есть рабы угнетения!

– А вы рабы свободные!

– А вы...

Отец пришел в себя после скачки, стал говорить спокойнее, но его уже не слушали. Перепалка разгоралась с новой силой. Прошка Грех гарцевал на своем коне между двух плотных стен, словно генерал на параде. На него не обращали внимания.

Андрей вышел из толпы и, оглядываясь, направился к краю болота. Кедр заслоняли березы, были видны только сомкнутые вершины отростков.

– Эй, женишок! – вдруг окликнул его Митя Мамухин и поманил пальцем, хитро щурясь. – Иди-ка сюда... Иди, иди, спросить хочу...

Холодок стыда окатил Андрея с головы до ног. Значит, Альбинка проболталась, и теперь все знают... А может, Митя Мамухин сам выследил их?

Андрей сделал к нему несколько шажков, но внезапно развернулся и побежал вдоль болота. Вслед полетел смех, от которого хотелось спрятаться, стать маленьким, незаметным. Он опомнился, когда был в конце «штанины». И вдруг решил: если обещал, значит, возьму Альбинку! И пускай смеются, пускай говорят что вздумается!

Он хотел немедленно вернуться, но прямо перед собой, за тальниками, увидел тот самый кедр и сразу подумал, что сегодня же он приведет сюда Альбинку и покажет постель под куполом. Ей обязательно понравится, а залезть она сможет, вон какая длинноногая и ловкая, хотя на целый год младше Андрея.

У подножья ствола лежала толстая, мягкая перина пережелтевшей хвои, прошлогодняя труха от шишек, распущенных бурундуками; под огромной кроной было тихо, покойно, словно в пустой церкви. Андрей дотянулся до нижнего сучка и отдернул руки: там, наверху, кто-то был! Веревки между отростков раскачивались, и попона провисла так, как если бы на ней лежал человек...

– Эй, кто тут? – окликнул Андрей, отступая от дерева, чтобы лучше рассмотреть.

В недрах купола что-то трепыхнулось и замерло, веревки остановились. Андрей увидел длинную полу тулупа, свисающую с войлока.

– Ленька? Ты зачем туда залез?! – крикнул он. – Это мы с отцом первые придумали!

В ответ послышалось какое-то всхлопывание: наверное, Ангел прыгал на попоне.

– Слазь! – потребовал Андрей. – Я же знаю, что это ты!

– А я на небушке сажу! А я на небушке сажу! – счастливо пропел Ленька-Ангел, раскачиваясь.

Андрей понял, что его не согнать с дерева, и со злости швырнул палку. Но палка не долетела и до середины кедра, зависнув на ветках.

– Я – андел! Я – андел! – торжественным и страшным голосом провозглашал Ленька.

Тогда Андрей выворотил из кучи валежника увесистый сук и постучал по стволу.

– Слазь, дурак несчастный! – закричал он, чуть не плача от бессилья.

И вдруг услышал топот многих ног. По лугу к кедру бежали свободненские мальчишки.

– Вот он, вот! – заорал один из них. – Держи его!

Андрей подумал, что они ловят зайчонка, и даже огляделся вокруг себя, но в следующую секунду все понял.

– Ага, барчук, попался! – крикнул веснушчатый мальчишка, сын Анисима Рыжова. Но сам встал и смотрел на Андрея, моргая рыжими ресницами. Остальные, человек семь, затоптались на месте, не зная, как приступить, медлили. Андрей вскинул дубинку.

– Не подходите! – чужим голосом выдохнул он. – Убью!

– Бей! – заорал веснушчатый и с голыми руками кинулся на Андрея. – Дави его!

Андрей прижался спиной к кедру, махнул дубинкой – мальчишки отскочили, и попало только веснушчатому. В мгновение тот перехватил дубинку и рванул на себя. Андрей не отпустил, цепляясь крепче. Взрывая ногами прелую хвою, они закружились на месте, а вокруг колобродили и суетились остальные мальчишки. Изловчившись, Андрей вывернул-таки дубинку из рук веснушчатого, и тот заблажил, отступая:

– Бей барчуков!

Андрей не успел увидеть, кто ударил его и чем. И боли не было. Только земля опрокинулась и придавила собой, как подстреленная лошадь. Мальчишки, увидев фонтан брызнувшей крови, попятнулись, кто-то упал и громко закричал. Всем стало страшно. Обгоняя друг друга, они ринулись в глубь чащобника.

А с кедра слетел и мягко опустился на траву невесомый Ангел...

6. В ГОД 1918...

Поздно вечером, когда вагон остыл от дневного зноя, посадили еще несколько человек. Люди уже дремали, урывая часы прохлады, но тут повскакивали с пола, начались расспросы: кто? какой партии? какие новости на воле? Андрей лежал, притиснувшись к стене – места в вагоне уже не хватало, – и в какой-то сумрачной полудреме слушал приглушенные разговоры, как в детстве слушают скучную сказку, борясь со сном. И вдруг сквозь рой голосов пробился один знакомый. Андрей приподнял голову и в следующее мгновение, опираясь на стенку, встал: сомнений не оставалось – среди новичков был человек по фамилии Бартов. Это он приказал взять Олю в заложники.

Расталкивая людей, Андрей пошел на его голос, туда, где сидели большевики. Он цеплялся за чьи-то плечи и руки, протискивался между телами, и когда уже был у двери, Бартов замолчал.

Андрей разодрал руками бинт у рта.

– Бартов! – сквозь гул голосов хрипло прокричал он. – Где заложники? Где моя сестра?! – Сунулся вперед и схватил кого-то за грудки: – Где заложники? Где?!

Все-таки это был Бартов. Он попытался оторвать от себя руки Андрея, но тот налег всем телом, прижал его к стене. Кто-то сильный оттаскивал Андрея, рвал полы френча.

– Я не знаю, где заложники! – Бартов перестал сопротивляться, дышал часто.

– Что вы сделали с ними? – кричал Андрей и слышал только свой голос. – Где моя сестра? Я Березин!

– Спроси, спроси! – поддержал кто-то из темноты. – Большевики применили систему заложников! Бесчеловечный прием!

– Замолчи, иуда! – оборвал Бартов. – От хорошей жизни применили! Республика на грани смерти!..

Андрей уже не мог кричать и лишь теребил влажную от пота рубаху Бартова. Кто-то схватил его поперек туловища, оторвал от Бартова, но Андрей наугад ударил в чье-то лицо и вновь потянулся к смутно белеющей потной рубахе. На пути возник долговязый боец, и в следующее мгновение Андрей упал навзничь, схватившись за лицо. Перед глазами поплыли красные сполохи, повязка быстро и густо напиталась кровью, острая боль пронзила голову и на какой-то миг сделала Андрея недвижимым.

А в вагоне уже началась драка. В темноте невозможно было понять, кто за кого; люди давились в тесноте; слышались гул, тяжелое дыхание и хрип, треск разрываемой одежды. Андрей встал на четвереньки, но тут же был сбит. Кто-то грузный навалился сверху, придавил к полу так, что чуть не остановилось сердце. Хватая ртом смешанный с кровью воздух, Андрей свалил с себя упавшего и, цепляясь за чью-то гимнастерку, поднялся на ноги. Вагон содрогался от движений десятков людей, в темноте призрачно мелькали лица, сжатые кулаки; густой ор заполнил тесное пространство.

Кто-то громко плакал навзрыд и ничуть не стеснялся слез.

Неожиданно для себя Андрей осознал, что потерял ориентировку и не знает, куда идти, в какой стороне остались Ковшов и Шиловский. Он двинулся, как показалось, вдоль вагона, но тут же наткнулся на стенку. Кто-то ударил его по ноге, кому-то он сам наступил на руку. Где-то должна быть дверь... Андрей пробирался, щупая стенку, его бросало по сторонам, кружилась голова, и от боли терялся слух. Двери не было, хотя чудилось, будто он обошел весь вагон по периметру. Тогда Андрей выбрал свободное место и опустился на пол. В противоположной стороне кто-то начал стучать ногами в стену – методично и сильно; вздрагивал пол, трясся вагон.

– Я от постучу! – окрикнул часовой. – Прекратить!

В ответ застучали мощнее, качнулся пол, затрещали доски.

– Русским языком сказано – не стучать! – вознегодовал охранник, а Андрея вдруг осенило: Ковшов стучит! Он поднялся и двинулся на стук...

В тот же миг ударил хлесткий в ночи выстрел. И щепка, выбитая пулей, оцарапала Андрею горло. Показалось, стреляли в него, но пуля прошла мимо, пробив обе стены навывлет.

Ковшова это взбесило. Он застучал кулаками:

– Стреляй! Ну, стреляй, сука! Тут я! Вот он!

Андрей был уже рядом с Шиловским, безучастно лежащим у стены.

– Стреляй! – орал Ковшов. – Или я тебя завтра кончу!

На него зашикали, одернули, потянули на пол. Ковшов вывернулся, сел на корточки у двери, сказал со стоном:

– Погодите вот, погодите... Вырвусь – похлебаю кровушки.

В темноте картавый голос попытался образумить его:

– Товарищ, товарищ, врага надо брать хитростью. То, что делаете вы, бесполезно и только разозлит их, разгневает. У вас, товарищ, нет опыта подпольной работы. И в тюрьмах вам сидеть не доводилось, и на пересылках не бывали... А я из Нарымской ссылки дважды бежал, и поверьте, опыт есть.

– Из Нарымской самый ленивый только не бежал, – отозвался хмурый голос. – Кончай агитацию, спать охота...

Ночью Андрей услышал дыхание паровоза и дребезжащий гул рельсов. Паровоз подкрадывался к вагону тихо, по-воровски, и потом ударил буферами неожиданно. От сотрясения многие повскакивали, возникло замешательство, однако вагон уже был прицеплен и паровоз потащил его в темную, без единого огонька, степь.

– Все, товарищи, – заключил Бартов. – Вывезут в степь и расстреляют.

Стало тихо, лишь по железной крыше стучали сапоги охраны. Очнувшийся от сна сумасшедший беляк сказал неожиданно громко и весело:

– А я сам-то рязанский! У нас в деревне все певу-учие были...

И повел неизменную свою песню о том, как брат в пиру обидел сестру.

Словно подстегнутый его голосом, в глубине вагона тревожно запел хор:

Вставай, проклятем заклеянный,

Весь мир голодных и рабов...

По крыше застучали приклады, однако хор разрастался, крепили голоса. Под этот шум Ковшов начал бить в стену ногами, за-трещали доски. Он ломал вагон в одиночку, матерился длинно, забористо и весело, как если бы делал трудную крестьянскую работу – корчевал пни или метал сено в предчувствии грозы. Арестованные допели «Интернационал», сумасшедший – свою песню, а Ковшов все бил и бил в пружинящую стенку, пока с крыши не раздалась угрожающие окрики.

– Пойте, мать вашу! – заорал Ковшов. – Пойте – ломать буду! Сломаю!

В узком окошке под крышей возник фонарь, показавшийся ярким, слепящим, просунулась рука с гранатой. Кто-то злобно сказал:

– Я те хребет ломаю! Стукни еще раз!

– И стукну! – взъерепенился Ковшов. – А ты чего с крыши-то? Иди сюда, спускайся.

Один на один! И поглядим, кто кому!

Он подпрыгнул, норовя выхватить гранату, – не достал.

Свет в окошке убрался, и вместе с непроглядной теменью повисла тишина.

– Кто знает, мужики, когда побьем всю красную сволоту, по сколь земли полагается? – вдруг спросил сумасшедший. – Я вот считаю – сосчитать не могу, а? За одного комиссара сулили аж по три десятины, за каждого красного – по одной. Вот ежели пяток хлопнуть, а?

...После демобилизации, по дороге с фронта домой, Андрей заболел тифом. Его вынесли из вагона на каком-то полустанке недалеко от Самары, положили на снег, и кто-то сердобольно прикрыл лицо фуражкой. Сознание еще теплилось, и Березин с трудом свалил ее. И прежде чем уйти в темноту, запомнил, что с белого неба падал крупный белый снег. Заледенев на лице, он чем-то напоминал сегодняшнюю повязку.

Время перестало для него существовать, и он не знал, сколько продолжалось такое состояние. Казалось, недолго, несколько минут, однако когда он снова смог различить вокруг себя предметы, стал узнавать горячие, сухонькие руки, то увидел пучок желтой, распутившейся вербы на подоконнике.

Старушка часто склонялась над Андреем и подолгу смотрела ему в лицо, верно, думая, что он лежит без сознания и не чувствует. А он все видел и чувствовал и не мог наглядеться в эти старушечьи глаза. Однажды он подумал, что если и существует на свете Судьба, то обязательно вот в таком образе. По тогдашнему его разумению, она выглядела старицей, поскольку ей приходилось опекать сразу множество людей разных поколений. Человек может и умереть, а Судьба его остается, набирает новое пополнение и ведет людей дальше. Наверное, поэтому так часто человеческие судьбы повторяются с удивительной точностью.

Это пришло ему в голову, когда вернулась утраченная способность думать.

В небольшом домике Василисы Ивановны бывало одновременно до трех-четырех тифозных – в основном солдат, едущих с фронта, и беспризорных детей. Число это всегда сокращалось: одни, еще слабые после болезни, прощались с престарелой фельд-шеррицей и уходили, других Василиса Ивановна кое-как обряжала, укладывала на саночки и отвозила на кладбище. Но всякий раз, немного отдохнув, она снова впрягалась в лямку и шла на вокзал.

Лечила она какой-то маслянистой жидкостью, подавая ее мензурками три раза в день. Андрей пил это лекарство, и каждый раз ему чудился новый вкус – то горький, то солоновато-терпкий или сладкий, пока он не понял, что это обыкновенный керосин. Другого снадобья у Василисы Ивановны просто не было.

Бог знает, что помогло – керосин или заговор, однако на третьей неделе болезни он начал вставать. Василиса Ивановна расспрашивала его о родных и пока не отпускала, хотя он, как все ею выхоженные, пытался уйти. Она увещевала не ходить, пока слабый и пока нет вестей от родных, которым она отписала.

– Не затем, батюшка, я тебя с того света доставала, чтоб назад-то отправить, – говорила она. – Приедет отец, увезет. Не то сомнут тебя по дороге и не заметят...

Андрей понимал, что и впрямь не доедет один в таком состоянии. Еще бы месяц, чтобы окончательно встать на ноги... Однако он видел, как Василиса Ивановна каждый день завязывает в тряпицу какие-то вещи, уходит на несколько часов и возвращается с узелочком крупы или муки. Ее дом пустел на глазах и становился гулким. На стенах еще оставались картины, ставшие Андрею дорогими именно в то время, когда возвращалось сознание и способность мыслить. Говорить он не мог, поэтому лежа смотрел на мягкие пейзажи с лугом и стогами, подернутые легким туманом, на простенькую излучину безвестной речки с ярко-зеленым островком травы, на золотые, в косых лучах заходящего солнца, безмятежно радостные сосны; и оживала душа, наполняясь жаждой жить. Картины эти, словно окна в мир, освещали дом Василисы Ивановны, наполненный страданием и болью. Но как-то раз Василиса Ивановна привела с собой живенького еще старичка, который расторопно пробежался вдоль стен, глянув на картины сквозь глазок пенсне, и, зажимая платочком нос, одобрил:

– Узе, да! Узе, да! – и выставил на стол бутылку денатурата.

– Добавь еще, батюшка! – попросила Василиса Ивановна. – Тиф кругом, а лечить нечем...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.